

КСЕНИЯ ШАМАНОВА

Третий шаг



Новеллы

о гранях
жизни

Ксения Шаманова

Третий шаг

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68610029

SelfPub; 2023

Аннотация

Это новеллы о гранях нашей жизни. О том, как человек вдруг теряет равновесие. О поисках выхода из самого запутанного лабиринта. И да, мы не всегда можем его обнаружить, а иногда он оказывается запертым наглухо. Это новеллы просто о жизни и просто о людях. Это психология чувствующей души.

Содержание

Talitha cumi	4
Выбор	27
Рубашка	41
Пластилиновый человек	47
Несуществующий диагноз	53
Каинова печать	74
Ошибка	88
IN MEMORIAM	96
Но смерть сильнее...	115
Я не устану проклинать	129
Третий шаг	148

Ксения Шаманова

Третий шаг

Talitha cumi

*Он себе на шею чётки
Вместо шарфа навязал
И с лица стальной решетки
Ни пред кем не подымал*
Пушкин

Когда половина земного пути уже пройдена, оказываешь-ся в тупике. Надеваешь маску мифологического героя, известного со школьной скамьи, и слушаешь звуки мира сквозь прожилки немзыкального тела. Может быть, голос из глубины веков вернёт надежду: «Тесей, вот тебе нить!»? После всего я научусь быть внимательным и уже никогда не подниму зловещий чёрный флаг (мое положение выигрышнее: знаю последствия).

В свои почти тридцать лет я отравлен тем же (дантовским) ядом неустанного раздумья, в наши дни его называют рефлексией. Я ещё не осушил чашу, но уже не в силах поднять бутылку, чтобы налить через край. За плечами – четыре года филфака, судебный процесс и несколько месяцев журна-

листского стажа. Ключевое слово – последнее, потому что в свои –дцать я до сих пор стажёр.

Après moi le deluge².

А сейчас я всё-таки хочу жить; именно жить (жаль, что нельзя написать через «ы», чтобы твердо), а не абы как. Я умею грамотно расставлять знаки препинания и всё ещё помню, что в слове кричать когда-то писался «к», как и в слове «крик», и даже худо-бедно объясню почему; могу сварганить неплохой текст для псевдоинтеллекта, оставляющего жирные пятна на утренней газете за плотным завтраком. Практикуюсь вызывать рвотный рефлекс и становиться мишенью изрыгателя инвектив. В общем, корреспондент-недоумок с остаточными знаниями в области лингвистики и немного культурологии. Пройдя эту чёртову половину жизненного пути, я возжаждал (старославянизм) выбраться из Сансарова колеса, чтобы обрести спокойствие, которое совсем не душевная подлость, а предел мечтаний современного мутанта.

Новая хозяйка (Цербер) дала мне ключи от моей жёлтенькой каморки, похожей на гроб, но только для того, кто доучился до десятого класса и открыл на досуге заумный детектив XIX века. А в целом комнатка неплоха: стены, линолеум, потолок и даже деревянные полочки специально для таких книжных червей, как я; но важнее всего – письменный стол. Он, в общем-то, настолько важен, что я даже не придал значения отсутствию кровати.

В дверь постучали. *Она* появилась на пороге, впус­тив облако мягкого света в мою тёмную крохотную клетушку. Вы­таскивая левую руку из рукава твидового пиджака, я оста­новился, почти заворожённый. Не ей, конечно (старая, пол­ная, в махровом халате, с пучком на непропорционально ма­ленькой голове), а приглушённой мелодией обманутого зре­ния: тихий свет царственно расположился в грязном углу с разорванными обоями и глядел на меня оттуда насто­роженно и как бы немного оценивающе.

– Григорий Александрович! – позвала она (вообще-то, Евгений, но велика ли разница для литературы?). – Рас­кладушка на антресоли. Когда будете ложиться, позовите – постелю. Конечно, раскладушечка старая и, может быть, не слишком удобная, но что вы, собственно, хотели за такую плату? – полуулыбка, взгляд змеи, руки шершавые, некрасивые; а ещё чем-то похожа на библиотекаря из советского воспоминания. Наверное, голос напомнил – очень уж надо­едливый и ритм сбивчивый (не быть поэтессой); вид такой насупленный, как будто я её обвиняю. А я ведь даже и не ду­мал кричать, брызгая слюной: «За что я плачу, а? За что я вам плачу, не понимаю?» Мой внутренний Акакий Акакиевич робко склонил голову, мол, зачем вы меня обижаете, я ведь ещё даже шинель не сменил.

Библиотекарша переминалась с ноги на ногу, точно че­го-то выжидала.

– Можно мне наконец остаться одному? – я произнёс эти

громкие слова непривычно тихо. Хозяйка обиженно поджала губы:

– Да разве я вам мешаю? Я вам тут ключи... – она порылась в кармане и вытащила связку ключей: *найди* нужный.

– Выглядит так, будто у вас не трехкомнатная коммуналка, а сад расходящихся тропок, – поморщился я и наугад выбрал *тот самый*.

– Не нужно тут никаких метафор, – библиотекаря как бы невзначай коснулась волос, и шпильки посыпались мне под ноги. Редкие чёрные волосы рухнули на уставшие плечи.

«Разве я говорил метафорами?» – задумался, но за само вдруг сорвавшееся с её языка, выпавшее из самых глубин школьной памяти слово – поблагодарил.

– Тамара Николавна, пожалуйста, выйдите вон, – мой Акакий, мутировавший в человека в футляре, начинал волноваться, а маленький Дант неуклюже хлопал длинными ресничками, вопрошая: какой это по счёту круг ада?

– Я Татьяна! – топнула ногой она, оскорбившись; если мужчина перепутает имя какой бы то ни было женщины, – он изменник Родине, и ничего тут не попишешь, стало быть, ссылка.

– Знаете, так ведь и я Евгений! – я вконец вышел из себя и уже начал даже пододвигать её тучную фигуру ближе к двери.

Хозяйка медленно покраснела и улыбнулась, знаете ли, младенческой улыбкой, Леонардо бы обзавидовался, Джо-

конда в сравнении с моей библиотекаршей, – жалкая пародия на шедевр. Но я не художник (да и писатель из меня निकудышный), поэтому просто закрыл дверь перед её носом, прежде чем она начала декламировать Пушкина, путая слова.

Я лёг на холодный пол, чтобы никого ни о чем не просить (в робкой надежде, что сами все дадут, ан нет, Воланд лгал). Мои мысли усыплял вкрадчивый скрежет за дряхлым холодильником. Мышь – бессмертное существо, вышедшее из пены морской, но решившее жить на земле, потому что так надежнее; я не хотел, чтобы она бегала по моим обнаженным ступням, но и не спать не мог (я уже в том возрасте, когда сон нужнее, чем пресловутая *чистая светлая любовь*). Простите, Татьяна, но вы не похожи на Беатриче, давайте не будем смешить начитанных потомков.

– То есть как это вы не...? Если вы –...?

– Я утверждаю, что вы всё неправильно..., на самом деле..., так что не надо...!

– Да вы хоть знаете, с кем...!

– Да мне наплевать, кто...! Мое дело –..., так что идите-ка вы... и не приходите..., иначе...!

Дикий крик заставил меня очнуться. Пальцы всё равно не нажали ни одной клавиши из-за непрекращающегося

скандала. Приняв молчание как дар, я пошёл на шум. Из редакторской вышел разъярённый мужчина в сером пиджаке; его узкое лицо билось в нервных конвульсиях (раньше я думал, что дрожащие щеки – выдумка); он держал в окровавленных руках кувшин с отбитым носом, точнее, угрожающе нёс перед собой, и мы все невольно освобождали ему дорогу. Этот дьявол вырвал сердце из груди, чтобы осветить путь заблудшим душам, но за ним всё равно никто не пошёл, зато приехали санитары и увезли в психбольницу. Больше его никто не видел, однако забыть было гораздо сложнее. Я до сих пор помню, как серная кислота незнакомца уничтожала кожу рук моего редактора; его руки – его профессиональное оружие – превратились в кусок мяса. Каждое случайное прикосновение к прокажённому теперь сводило мое эго с ума. Я вдруг понял самое главное: человек смертен. Не слишком-то гениальное открытие – усмехнётесь вы. И всё-таки повторяю: человек смертен, и, когда он умрёт, время, как хищный зверь, сожрёт его тело, оставив жалкие кости. Человек смертен, и, когда он умрёт, никакого воскрешения не будет. Его самого больше не будет, и через несколько столетий рассыплется прахом чужая память. Человек смертен, и когда он умрёт, от него просто ничего не останется. И какая к чёрту разница, что станет дальше с его душой; в *этом* воплощении для *этого* мира он мёртв, и его смерть растворится в вечности как одна из многих... Когда сумасшедший химик облил редактора серной кислотой, я вдруг отчётливо осознал одну

вещь: моя вера в Человека отныне утрачена.

– Ты, наверное, мизантроп, Женька, – как будто успокаивал меня один меланхоличный коллега.

Я только пожимал плечами (самый искренний жест).

– Может быть, и мизантроп, а, может быть, и демон, – и злобно сверкал глазами, точно сам верил в новую выдумку.

И все, что пред собой он видел,

Он презирал иль ненавидел³.

– Эх, брат, как точно *они* умели выразить всю эту банальщину! – и я слегка подталкивал бледнолицего юношу, который разбирался только в собственной поэзии, а иную на дух не переносил. – Знаешь, – зашептал ему на ухо. – У меня даже своя Тамара есть, которая по паспорту Татьяна, но ради искусства можно и пожертвовать именем...

На самом деле я не был таким злобным, каким казался время от времени. Просто иногда мне приходилось надевать костюм ежа, ведь всё остальное в стирке. Вот если бы на мой закат печальный блеснула-таки любовь, я бы стал лучше. Хозяйка на роль возлюбленной, ради которой можно было бы героически погибнуть на дуэли, разумеется, не подходила. С соседями я был ещё незнаком, но, кажется, ни одной молодой симпатичной женщины среди них не было. Отчаявшись, я заперся в комнате, чтобы провести ещё один бездарный ве-

чер в уединении и с книгой; тоска пастернаковской строкой нахлынула горлом, но всё-таки не до конца убила, а я опять позабыл, что хотел сказать.

На деревянных полочках, которые отныне должны стать моими, пылилась оставленная прежним хозяином книга. Я сдул первый слой пыли и критически оглядел обложку: сохранилась неплохо; Достоевский «Идиот». Помнится, этому роману и была посвящена моя скучная дипломная работа; занимался тем, что оспаривал тезис «красота спасет мир», и вообще, ведь не Достоевский его предложил, а героиня, которой писатель едва ли доверял... Почему только непутевые критики обожают ставить знак равенства между автором и героем? Герой – альтер-эго, я согласен, но ведь не каждый (вся семейка Епанчиных точно отпадает).

На 228-ой стояла самодельная закладка; неаккуратный читатель оставил на странице отпечаток ногтя, точно желая что-то подчеркнуть, запомнить (а карандаша поблизости не оказалось). Почему-то сильнее забилося сердце. Куда так спешно исчез человек, недочитавший «Идиота?» И ведь внимательно читал, о чём-то даже размышлял, отмечал, волновался, в конце концов... И этот отпечаток как символ трагической судьбы... Почему история прервалась на середине? Где сейчас нерадивый читатель, так и не узнавший, что Рогожин в финале... Настасью Филипповну, а Мышкин...? Оставлять книгу недочитанной – то же, что уйти из семьи, бросив жену (мужа) и детей. Весьма некрасивый поступок.

Так на чём же этот странный тип остановился?

– А что, Лев Николаич, давно я хотел тебя спросить, веруешь ты в Бога или нет? – вдруг заговорил опять Рогожин, пройдя несколько шагов.

– Как ты странно спрашиваешь и... глядишь! – заметил князь невольно.

– А на эту картину я люблю смотреть, – пробормотал, помолчав Рогожин, точно забыв свой вопрос.

– На эту картину! – вскричал вдруг князь, под впечатлением внезапной мысли. – На эту картину! Да от этой картины у много вера может пропасть!⁴

Я задрожал: литературная лихорадка всё ещё была меня под ребрами, точно напоминая об университетском прошлом. Та картина... Копия с Гольбеина... Слишком натуралистичный Иисус... Смерть Иисуса как человека, а значит, сюжет о воскрешении перечёркивается... Я вдруг вспомнил изувеченные руки редактора. Вот тогда, когда я впервые понял, как беззащитна плоть, я потерял веру и в душу. Если тело недостаточно крепкое, кто даст гарантию, что душа крепче? Что, если и её облить серной кислотой? У Рогожина пропала вера в Творца, у меня – в венец творения. Что осталось нетронутым? Что ещё сохраняет статус догмы? Может быть, природа? Но ведь и её выдумал Бог...

Я щекой прислонился к странице с отпечатком чужого ногтя, чтобы быть ближе к человеку, который читал до меня, которому первому пришли в голову *как бы мои* мысли...

Мне показалось, что мы теперь неразрывно связаны, прикоснувшись к одной истине, подойдя близко, но не вплотную. Кто поможет снять занавес и увидеть эту Вселенную насквозь? У иного и вера может пропасть от увиденного.

– Знаешь, та девушка просто не вернулась, – сосед тщательно давил лимон в чай, чтобы уничтожить мрак хотя бы в пределах фарфоровой чашки. – У нее кое-что случилось, она ушла, не расплатившись с хозяйкой, не забрав даже вещи. Впрочем, всё необходимое она носила с собой.

Я отодвинул остывший чай.

– Что же у неё случилось?

– Думаешь, я знаю? Никто не знает, – сосед отпил из моей чашки, как будто мы знакомы тысячелетие.

– Откуда же ты знаешь, что что-то случилось? – начинал раздражаться я. Кажется, фиолетовый синячок между его кустистыми бровями пришелся бы кстати. Шрамы мужчине красят – стереотип. Сосед наконец-то понял, что мои намерения не из лучших, отодвинул стул и спрятал глаза.

– Спасибо, очень вкусно, я пойду.

Он проигнорировал мой вопрос.

Я поднял с пола малиновый шарфик. Упал, пока я снимал с антресоли раскладушку. Он ещё пах фруктовыми духами и детским шампунем; я не мог перестать вдыхать, мне каза-

лось, что это самый чистый, самый желанный кислород. Девушка, это всё-таки девушка не прочитала Достоевского до конца и подчеркнула ногтем те страшные строки. Её шарф хранил все оттенки свежего юного запаха, и мне всё виделась фигура в белом, танцующая на носочках; хотелось позвать её, окликнуть, но в лёгких не хватало воздуха.

И вот я приближался к ней, чтобы прервать этот бесконечный танец, уговорить её впустить меня в микрокосм таинственных идей, где мы вдвоем, соединив руки, будем лежать на шершавом берегу и молчать (потому что молчание – всё-таки дар, на этот раз прав Тютчев, а не Пушкин). Она ласковой рукой уберет чёлку с моего влажного лба и поцелуем сотрет навязчивые мысли:

– Ты больше не *там*, любимый, ты вышел из литературы, теперь ты в моем мире. Здесь теплые ракушки и рыжие волны, солёное небо и неутомимые корабли. Здесь ты и я, и нет никого из смертных и даже бессмертных. Только попробуй назвать мой придуманный рай соловьиным садом или даже попросту Эдемом. И тот голубой цветок, что в моих волосах, сорвал вовсе не Генрих из твоего любимого романа. Для того, чтобы спать рядом со мной на берегу заново обретенной надежды, не нужно попадать в золотой горшок. Просто люби меня, но без всякой болтовни про нож-финку; люби меня просто потому, что ты меня любишь, и тогда я не уйду в монастырь, не брошусь под поезд, не выйду замуж за нелюбимого. Если тебе так легче, представь, что я разделила с тобой

твое наказание. И пусть мы грешники, но мы счастливы; вырви нас из контекста, отключи разум, почувствуй себя глупым, наивным, свободным...

Когда я проснулся, было почти четыре утра. В окно стучался неистовый ветер, мышь снова проникла в холодильник и расправлялась с моим завтраком, хозяйке не спалось, и она скрипела половицами на кухне, сосед простыл и много чихал, а я всё так же прижимал к груди малиновый шарф и вдыхал, вдыхал и вновь... Кажется, я впервые почувствовал себя по-настоящему счастливым: я любил, вера вернулась. Любовь – единственная сила, способная спасти мир, остальное – фикция, у меня всё.

– Я больше не хочу общаться с этой свиньёй. Хоть бы его посадили! – коллега с остервенением рвал компьютерные клавиши, задумывая новый фельетон.

– Что он сделал? – равнодушно поинтересовался верстальщик.

– Он поступил по-свински! – бедняга покраснелся от возмущения. – Встречался с девушкой восемнадцать лет! Восемнадцать, представляешь? С детства, черт тебя побери, дружили, на горшок вместе... – он охрип. – За руку всегда ходили, родители не могли уговорить их разойтись по домам! А этот козёл её бросил. Просто взял и перечеркнул все

эти годы. Любовь у него, понимаешь ли. Так ведь и у неё любовь! Она после его измены в психушку загремела, не вынесла!

– Любовь... – задумчиво протянул я. – Может быть, у него действительно любовь. Это так непредсказуемо.

*Теперь взгляни на ту, чей лик с Христовым
Всего сходней; в её заре твой взгляд*

Мощь обретёт воззреть к лучам Христовым⁵...

– Нет, послушайте-ка его! Я ему про Фому, а он опять про своего Ерёму! – коллега так разозлился, что чуть не выплеснул свой кофе мне в лицо.

– Вообще-то это не про Ерёму, а про Беатриче, – тоже обиделся я.

– Чертов филолог! Найди себе уже бабу, вместо литературы развлекать будет! – он уткнулся в ноутбук, не желая больше продолжать диалог. Но я не мог теперь промолчать:

– Место литературы неизменно, она никому не уступит.

Хозяйка, которая не Тамара (да и я не демон), требовала забыть эту нерадивую девчонку, потому что она, меркантильная дрянь (кто бы говорил!), должна ей порядком – двадцать тысяч. А мне было наплевать, ведь любовь выскочила перед нами и поразила так быстро, что, когда я очнулся, рядом уже никого не было. Я сидел на корточках и пил дешёвое вино.

Я пил и сжимал в руках старый чёрный зонт с обломанными иглами; обнаружил случайно – пользы никакой – впору выкинуть – но как? – ведь это принадлежит ей. С какими ветрами сражалась моя Кассиопея? И как её зовут на самом деле?

– Не Татьяна, – сказала не Тамара, надеясь меня успокоить.

– Пойдите вон, пожалуйста, – вежливо попросил я, и она тотчас же ушла, потому что мы из разных текстов.

И вот я сидел перед пустой стеной, как будто она была телевизором, пил дешёвое вино с горьким привкусом и тихо ругался матом, потому что филолог и мне можно. За пыльным стеклом танцевала луна, и корчилась в муках очередная жертва, имя которой – легион. Мне не было жаль (я исповедуюсь, но не сострадаю), но почему-то хотелось спасти только эти рыжие звёзды; купить мешок, рукавом смести все веснушки и подарить той, что родилась в первый рассвет.

Ты. Сколько писателей (и поэтов) до *меня* произнесли это священное слово, глядя на дно стеклянного бокала, как будто жемчужина алкоголя не спирт, а любовь? Не это ли имел в виду тот пьяница, кропавший стихи в душном ресторане задолго после мармеладовского покаяния о том, что истина в вине (*in vino veritas*)? А после – посвящал стыдливой незнакомке за соседним столиком, задорно икающей в такт воображаемым аплодисментам.

Нет, *ты* не та «ты»; *такой* еще не знала литература (или я просто читал мимо строк); ты – острая игла от зонта, ты –

запах сирени и яблок, ты – недочитанная книга, ты – поцелуй в висок... Я никогда не видел тебя, но я снова и снова нажимаю на неподвижную кнопку, надеясь, что зонт всё-таки раскроется, а через дыру на старой ткани появится твоё лицо. Ты улыбнёшься, протянешь ко мне длинные руки и скажешь, что любовь как шагреневая кожа: чем сильнее любишь, тем меньше дней жизни остается, ведь любовь – болезнь, а у меня уже дурные симптомы. Я пью вино, скучаю и чего-то жду; может быть, ты вспомнишь про недочитанного «Идиота» или хотя бы неуплаченный долг? Я допиваю до дна и вдруг убеждаюсь в собственном бессмертии.

Со мною тень, мне данная с рожденья,

Я всюду и всегда с моею тенью⁶.

Спасибо за слова, Шамиссо, как тень я ношу с собой тоску (мой защитный механизм). Я художник, который на миг стал обычным человеком, потому что случайно забрёл в дом (хуже всего, что с мезонином). А в этом домике, как водится, не до творчества; здесь, понимаешь ли, любовь. И всё-таки меня назвали Евгением, так что дом с мезонином – только пророчество; Евгений о нём знать никак не мог, но всё же чеховскому авторитету доверился, сошёл со страниц одного автора и пошлёпал босиком (сумасшедший предатель) к другому. За ним ни через какой магический кристалл не уследишь – глупый блудный сын совсем отбился от рук, возжелав самостоятельности. Где ты сейчас? Твой маленький мозг (мозг-то маленького человека!) не додумал важную мысль.

Из-за неё, одной этой мыслишки, – пиши пропало: ты в западне, глубоко, *никто не вытянет*. Кажется, все беды начались с того самого момента, когда моя измученная мать торжественно провозгласила:

– Пусть будет Евгений.

И даже значения сказанному не придала (спасибо, что не Родион).

Пустой бокал – это меня теперь беспокоит больше всего прочего; и даже не наполовину пуст, наполовину полон, а просто пуст. Я подошёл к окну...

Тогда тоже была эта чёртова луна. Такая же круглая и жёлтая, как блин. И мне хотелось врезать по этой жирной физиономии, но Ольга удерживала мою руку. У неё были восхижительные чёрные глаза и крашенные белые волосы. Безумно красивое лицо: скульптор просто решил посмеяться над *наивным*. Пожалуй, до сих пор мне ни разу не попадались девушки с такими же красивыми лицами. Эталон (литературе и не снилось – и даже Пушкину), а я ведь обожатель признанных идеалов. Тогда фразу «красота спасёт мир» я понимал буквально. Правильно, не знал же, что когда-нибудь попаду на филфак. Светила надменная луна и вонзала длинные клыки в рыхлую землю, оставляя после себя ощущение ложного тепла. А рядом стояла Ольга, богиня поруганной любви, и гладила мою дрожащую юношескую руку.

– Ты ведь понимаешь, дорогой, что мы не смотримся вместе, – она так и сказала «не смотримся», это меня особенно

оскорбило. – У тебя губы слишком полные, мне неприятно их целовать.

И это после всего, что уже случилось прошлой ночью. Вместо луны дремал утончённый месяц, я изучал её фарфоровое тело и касался нежных ключиц своими (кто бы мог подумать: полными!) полными губами. Она всё твердила, что никогда в жизни не была так беспредельно счастлива и что я – на всю жизнь; и кое-кто верил, и кое-кто продолжал целовать.

Знаешь, царственная ты моя луна, любимица нервных рукописей, плевать я на тебя хотел! Ты такая же, как она: у тебя тоже нет ничего, кроме лица.

И я плюнул в воздух; ветер покачнулся от неожиданного опьянения; не надо было дышать ему в ухо; зато теперь мы стоим друг друга.

– Ты ведь её помнишь, ведь помнишь? – я неуклюже совал мятную карамельку соседской дочке – девочке лет тринадцати, слегка неполноценной.

– Она... – изменилась в лице, коленки затряслись от страха, но не я тому причиной, – она меня очень напугала. У неё очень другой вид. Она очень не такая. Раньше – хорошая, а потом... – девчонка вдруг так громко заплакала, что мне пришлось иметь дело с взбешённой соседкой.

– Чтобы вы больше к моему ребенку не подходили! – зло сверкнула глазами.

– Проклятая комната, – поддакнул пузатый сосед. – Сначала *та*, теперь – маньяк.

Я вспыхнул. И не потому, что меня назвали маньяком, я недоумевал, почему к ней относились так, точно упомянуть её имя запрещено? Да что с ней не так? Я прижался губами к её шарфу и чуть не заплакал. Мне никогда не узнать больше, чем я уже знаю.

– Может быть, всё-таки я? – настойчиво предлагала Татьяна, кружась передо мной в шёлковом халате.

– Простите, – отнекивался. – Я не совсем Евгений.

– Какая же нам разница? – хозяйка играла пуговицей на моём пиджаке.

– Дело в том, что я – *идиот*, – захлопнул дверь и ушел восвояси, такой вот чёртов плагиатор. А она, наверное, даже не поняла всей сути и подумала: «Какая восхитительно заниженная самооценка!» Зря я сравнивал её с библиотекарем, с Цербером было вернее.

– Слушай, у тебя мышеловки есть? – запыхавшийся сосед помахал перед моим носом обгрызенным куском рыжего батона.

– Нет, – поспешно бросил я, но он перехватил мою опаздывающую на работу руку.

– У *той* оставались. Можешь посмотреть на антресоли?

И вот тогда я впервые не пришёл на работу; может быть,

меня выгонят, может быть, оставят в статусе стажёра до дня моей смерти (воскресения). Как бы то ни было, я не мог оторваться от греховного созерцания. Моя *та* оказалась художницей (как я раньше не почувствовал запах акварели от шарфа?); на антресоли я нашел её рисунок – один единственный, но какой (!), достаточно, чтобы называться гением. Сосед перекрестился и, забыв про мышеловки, канул в Лету. Я же, напротив, не отводил взгляда и думал, что от этого рисунка у иного может и вера пропасть – вера в искусство.

Девушка без лица. Девушка с куском пластилина в руках, с растрепанными рыжими волосами и светлой веснушчатой кожей, но без лица. И я задрожал от ужаса (я воплощение крика с заезженной картины Мунка), потому что помнил: человек смертен, а тело беззащитно и может умереть, оставшись *вроде бы* живым. Руки редактора – тому доказательство. И всё-таки это были ещё руки: я мог восстановить по очертаниям, но у девушки просто не было лица. Зато – кусок пластилина и рыжие-рыжие-рыжие-рыжие... Чёрт! Я больше так не могу! Я разорву этот жалкий кусок картона и положу конец всему!

Но точно я теперь Мышкин, слушающий жуткий смех сумасшедшего Рогожина. Хохотали стены, хохотало утро, хохотал надрывающийся телефон, и хозяйка грубо стучала в дверь, требуя, чтобы я заткнулся, иначе для меня никогда не наступит апрель.

Я возьму портрет, я подниму его вверх над головой, зажму

под мышкой сломанный зонт и повяжу на шею малиновый шарф, полезу в самую толпу и начну искусно травмировать уже подготовленную, уже надтреснутую психику прохожих: а вы не видели девушку, которая...?

И я сам стану духом этой безвоздушной толпы и подниму всех на мятеж, размахивая портретом, как флагом; я устрою гладиаторский бой с судьбой – и пусть они все, хлебозрелищные, смотрят и проклинаят нерадивого медного всадника. Я всё-таки одержу победу, найду среди них одну единственную и брошусь под ноги, уже претендуя на роль в драме. Она потреплет меня по голове и тихо рассмеется:

– Что же ты наделал?

– А ты не сбегай, – отвечу, не смея поднять на нее глаз.

– Так я ведь не Настасья Филипповна, чтобы сбегать.

А я не Дант, чтобы любить выдумку. Сходить с ума по её вещам и простодушно плевать в стихи? Нет, мне нужен человек, а не вещи, мне нужно чужое тело (да-да, это тленное), потому что оно всё-таки источник тепла.

После того как меня выгнали из редакции, я, конечно, тотчас же напился, как будто только и ждал подходящего момента. Нужно было подготовить театральное представление для моей бешеной хозяйки или привести ей ветеринара. Нужно было броситься в ноги и излить душу:

– Татьяна, мне так необходимо теперь ваше понимание и сострадание! У меня совсем нет денег, я нищий, но духовно богатый пропойца. И не нужно жестоко класть в мою протянутую ладонь камень вместо хлеба. Позвольте просто переночевать у порога вашей двери.

Пока я придумывал речь, не заметил, как добрался до своего (пятого, что ли?) этажа. Кажется, зря старался: мой неудавшийся Борхес уже громко и протяжно храпел. Я порылся в карманах, но ключей не нашел. Громко выругался: вполне возможно, что выронил по дороге.

– Зачем же так ругаться? Люди спят, – услышал я чей-то тихий, но всё-таки самоуверенный голос. Поднял тяжелую голову и вскрикнул: прямо напротив моей двери стояла *та* (я почти не сомневался). Не сомневался, потому что пахло тем же детским шампунем и потому что волосы рыжие, как на рисунке (хотя, как я уже говорил, автор не равен персонажу). Мне показалось, что я рухну перед ней на колени и расплачусь, как младенец, впервые увидевший свет; почему она *здесь*, а я *там*? Почему она сейчас, а я вчера? Почему я мертвецки пьян, когда моя незнакомка – сплошная жизнь?

– Вы знаете, мне... мне жутко неудобно... – я даже охрип от волнения, потому что слишком много раз представлял эту встречу, и вот теперь так неожиданно... наяву... – Вы, наверное, пришли, чтобы оставить хозяйке деньги?

Девушка рассмеялась, маленькие плечики задрожали

в насмешке над моим невежеством:

– Если бы я хотела отдать деньги, то не пришла бы так поздно. Очевидно, что я намеренно скрываюсь, чтобы не платить, – она говорила слишком презрительно, чтобы завтра полюбить меня; а мне всё равно хотелось просить у неё прощения, и я просил, потому что пьян:

– Извините, мне так неудобно... Ваш шарф... я долго вдыхал его запах, потому что такого больше нет ни у кого; этот сломанный зонт без игл, о котором вы, вероятно, уже забыли, лежит под моей подушкой. Вы, наверное, скажете, что я идиот, но знайте, я очень люблю вас и готов...

– Идиот, – резко оборвала мою тираду невежливая незнакомка. – Я пришла, чтобы дочитать книгу.

Я совсем растерялся: кажется, меня только что отвергли.

– А как же моя любовь? – слабо пискнул мой внутренний маленький человек: а как же моя шинель?

– Откройте, пожалуйста, дверь, – нетерпеливо потребовала девушка.

– А почему вы нарисовали такой портрет? – вдруг спросил я, не сдвинувшись с места, – вы знаете, у иного может и вера пропасть... – я осёкся, потому что снова попадал в текст, а ведь в моём сне она этого не хотела.

– Вы что, действительно меня любите? – шепотом спросила *та*, закрыла уши руками, чтобы я мог ответить «да», и почти сразу продолжила:

– Вы знаете больше меня, вы дочитали... – девушка мсти-

тельно сжала кулаки, – Но лишь текст. Вы знаете жизнь в пределах чужого текста. И любите вы меня только как литературного персонажа. Даже стихи какие-нибудь, глядишь, по случаю намарали. . . – она очень на меня разозлилась, и если бы я знал, то не пришел бы вообще, и раздавила бы меня какая-нибудь щегольская и барская коляска, и какой-нибудь Родион отдувался бы теперь за меня.

– А я потерял ключи, – решил сразу прояснить я и подошёл ближе.

– Вы ненадежный человек, – в сердцах заключила она.

Я уже слышал её почему-то робкое приглушенное дыхание, тонкий аромат волос сводил меня с ума; вот бы удержаться на поверхности, когда Земля начнёт очередной круг. Может быть, сейчас я наконец узнаю имя своей незнакомки, но для начала должен увидеть её *прекрасное* лицо.

– Ну же, святая дева, повернись ко мне, – торжественно попросил я.

И тогда она обернулась. . .

Выбор

I

Я упал лицом в бессовестно непоколебимую осень. Многострадальное небо отражалось в тщательно вычищенных носках моих сапог. Считал облачка, запутавшиеся в линиях луж, и думал, что в этот вечер ничто не длится по-настоящему вечно.

Поднял голову, чтобы увидеть не безукоризненно синий цвет, а твоё лицо – шершавый лист на подмятой дождём траве. И уже не мог оторвать глаз, когда светлые кудряшки – дубовые волны – подпрыгнули к застывшей небесной воде... Рябиновые губы ловили луч уже не греющего, но ещё ласкового солнышка. Улыбка повисла на мокрых ветках, грациозных в своём новом воплощении, и уткнулась в макушку уходящего рассвета. Я не хотел верить в космизм происходящего, но просыпающиеся липы вдруг отразили твоё бытийное тело, и показалось странным, как это не на нём, а на трех китах стоит Вселенная. Игривые воробьи выскочили из складок шелестящего платья и спрятались в синеве искрящихся глаз. Ты была счастлива, как стрекодуший о сво-

ём кузнечик, и несчастна, как барабанная дробь тускнеющего, смытого серыми каплями мира. Но в твоих волосах эти капли – серебристые паутинки тоскливой грации и волшебной грусти. Соитие противоположностей пригласило меня в нежный любовный плен. Разумеется, я не сразу догадался, что такое осенний диагноз душевнобольной аллеи, порождающей иллюзии для неработающего ума. Женщина бросилась ко мне в абсолюте отчаяния и крепко обняла дрожащие колени. Когда я сжал её ладони и поднёс к губам, они пахли смолой и надеждой. Как тебя зовут? *Татьяна. Все называют Таточкой.* А мне можно? *Конечно.* Почему ты так похожа на осень? *Потому что я ветер. Свежий осенний ветер. Представь, что он без спросу ворвался в твоё окно.*

Я взял её на руки, уложив как младенца, и понес прочь от этого хищного утра; она стеснялась порванных колготок и всё время тянула платье, чтобы прикрыть. А потом, в моей теплой квартире, начала плакать и говорить, говорить, говорить... Я подсыпал валериану в кофе, но без толку: одно нейтрализовало другое, а как итог – всё рассыпалось прахом.

– Знаешь, где я была, когда ты втягивал носом влажный аромат продирающегося сквозь дебри утра? Я продиралась сквозь эти дебри! – Татьяна элегантно зажимала между пальцев надломленную сигарету, точно это была её личная, сорванная с небес звезда. – Я ещё так молода, мне наверняка нет и тридцати пяти, а жизнь уже выстрадана, тело иссушено. Не смотри на меня так, точно я жалуюсь. Это всего лишь

исповедь самой несчастной матери на свете... Мой ребёночек – в земле... – сигарета таяла, недокуренная, а её хозяйка падала в мои трепещущие объятия. Все напоминало плохо сочиненный сентиментальный роман; я прижал её к груди, чтобы взаимослушать ритмы сердца, и ласково потрепал по головке.

– Когда это случилось? – осторожно извлекая из руки окурок, спросил я и мой простуженный голос.

– С неделю назад... Он появился на свет мёртвым... – спрятала заплаканное лицо – проекция на рыдавший с ночи на утро сад.

– А где его отец? – приложился щекой к её безупречной мягкости.

Встрепенулась, вздрогнула, оттолкнула:

– У него не было отца, никогда не было... Владимир, пожалуйста, выключи свет, он режет мне глаза.

И я покорился, а потом мы ворвались в парадигму безумия и погасили все рассветы и закаты одновременно; на нас опрокинулся таз со звездами, и мы едва выжили в этом кораблекрушительном путешествии. Наверняка спасало только крепкое судно на двоих, противостоящее всем ураганам и бурям, обеззараживающее самый жестокий шторм. Чудовищное эхо голодной луны оглушало наши напуганные души и заставляло держаться друг за друга ещё крепче, кошки бесятся под окном, потому что завидовали недоступному им блаженству, а мы отключали звуковой фон и вслушивались

только в объятия и поцелуи. Клинок преступной ночной тишины взрезал артерии фальшивой свободы, и мы построили крепость, чтобы защититься от отравляющего одиночества, и вполне удовлетворились.

Может быть, на какой-то единичный отрезок времени мы вскрыли корни безмятежности и замерли, бездыханные, но оживлённые. Река бесконечного времятечения укачивала двоих послушных младенцев в колыбели под музыку чудной истомы; мы блаженно улыбались, как юродивые, святые, не понимая, что значит суета и искусственная жизнь. За одну ночь мы открылись друг другу, как два распутившихся цветка, говоря на языке духоплоти. Пока тела танцевали, экзальтированные, оторванные от всего, кроме воздуха, души обменивались обжигающими словами. И я никогда прежде не думал, что такое возможно: для меня существовали только два вида любви – платоническая и плотская, и вдруг что-то перевернуло эти в корне неправильные взгляды. Я гулял утром в парке, измученный бессонницей, и встречал рассвет, тщетно ища вдохновения в картине опавшего с деревьев бытия. Но вдруг изъял из общего часть, работая так же умело, как хирург, и поманил осень, её суть, её дух, в свою маленькую квартирку. Дубовые листья рассыпались по белоснежной подушке, я наклонился, чтобы сорвать рябиновую ветвь, обнял тонкий липовый ствол и получил в ответ нежность, собранную со всех облаков, лучиков, звёзд. И впервые в жизни меня сразила одна единственная,

феерично шумная мысль: «Вот оно – настоящее». Мне нужно было и ощущать, и шептать, и молчать, и быть – но так, чтобы не расщепляться на два отколовшихся элемента. Она предлагала взять и сломать все существующие часы, чтобы ввести мир в заблуждение, и я бы согласился, но первые лучи солнца хитро посмеялись над нашим желанием, ловко смахнув с горячей небесной груди сверкающие кристаллы и саму темноту.

– Татьяна, не уходи, останься... Неужели ты не почувствовала, что это...

Она подбирает с пола шелестящее осеннее платье, затягивает корсет, ищет рваные колготки.

– Татьяна, я, наверное, не выживу. Посмотри, как я ослаб, как истощён... Чем ближе ты пододвигаешься к двери, тем глубже я проваливаюсь.

Она оборачивается, как будто подарить блистательную надежду, но вместо этого открывает рябиновый рот – ягоды сыплются на пол – и называет... сумму.

Я потрясённо посмотрел на неё и не вымолвил ни слова.

– Неужели ты не понял, кто я, Владимир? – подошла и грубовато похлопала по плечу, – так уж и быть: за твою наивность могу сбавить полтинник.

Голова закружилась, и я вконец обессилел, желая принять реальное за невозможное, но вместо этого злая действительность прожигала монеты-глаза. Я сел на краешек одинокой кровати и заплакал, как бедная, замерзшая ива с обветрен-

ными ветвями-губами, пролепетал, чтобы брала из моего кошелька, сколько нужно, и, указав на него рукой, жалостливо обнял своё «я» за плечи, да так и заснул – маленький ссохшийся комочек, брошенный у порога жизни эмбрион.

В полшестого Лидия ждала меня у театра. Заприметив издали, радостно замахала рукой и крепко обняла. Я ощутил тонкий аромат своих самых любимых цветочных духов и заметил, что она надела к платью изумрудное кольцо, которое я подарил ей на днях. Угостила мягкими клубничными круассанами и поцеловала в крошки на моих губах. Я терпеливо подчинялся её детским забавам и равнодушно скользил пальцами по обнажённым плечам.

– Специально для тебя, – тряхнула густым каштановым хвостом. – Ты любишь, чтобы было больше кожи, чем ткани, поэтому я подобрала такое платье... Надеюсь, ты досидишь до конца спектакля и не накинешься на меня прямо здесь? – озорная девчонка звонко рассмеялась, а я едва выдавил кислую, лимонную улыбку.

– Надела бы лучше куртку... замёрзнешь, – пробормотал я.

Я любил Лидию, как любят родных детей, волновался за каждый неосторожный шаг, бранил за опрометчивость, ставил в угол. Вечерами ребенок вырос: надевал шикарную одежду и острые каблуки, пил шампанское и раздевался донага. Когда я покорялся внезапно вспыхивающему влечению, то становился грязным животным, насыщающим соб-

ственное брюхо; Лидия утрачивала для меня личность, она превращалась только в мишень для выстрелов страсти. Через неделю мы должны были пожениться, через год-два – превратиться в пару скучающих супругов. Но пусть лучше это произойдет с Лидией, чем с другой. Я знаю её до каждой обиженной нотки и готов оберегать от косноязычной реальности; кроме того, никто, кроме Лидии, не согласится денно и ночью печатать мои корявые рукописи. Она меня всё-таки обожает, и это обожание доходит подчас до самопожертвования, самозабвения. Ей нужна ласка, тепло и, конечно, любовь. Познав кое-что сильнее, я не могу теперь давать ничего из этого...

– Володя... Поцелуй мое плечо, ну разве я бы надела это дурацкое платье, если бы не ты? Вот так, ещё нежнее... Да что с тобой! Ты такой колючий... Ты дописал свой роман? Я хочу печатать его для тебя... К тому же, меня преследует мысль о той пятой главе... Неужели всё так и закончится? Не томи меня, иначе я завяну от собственных мыслей. Ты же этого не хочешь? Не хочешь?..

– Дорогая, ты обворожительна, но... – внезапно отнялся язык.

– Но... что? – она нахмурилась... она пронизательна.

– В последнее время я... не могу. Ну, ты понимаешь... Ты ведь понимаешь?

Лидия обвила мою шею:

– Любимый, неужели ты думаешь, что мне это так важно?

Я просто хочу быть рядом с тобой, и мне плевать на твои недуги. Давай сегодня ночью не засыпать и разговаривать?.. Расскажи мне, что там после пятой главы, я хочу знать.

– Лида... не надо... я не в настроении... У меня творческий кризис, и я сам не знаю, что там после пятой главы.

– Хочешь, придумаем вместе? Я помогу тебе, я знаю, что там должно быть, – очаровательно улыбнулась, легла на колени. Зритель справа толкнул меня в бок:

– Это театр, имейте совесть!

Я аккуратно приподнял Лидину голову и шепнул:

– Вот видишь, это – театр...

Я больше не мог писать; клетчатый лист бумаги оставался безнадежно чистым. Спать тоже не получалось; чтобы не сойти с ума я вставал под холодный душ, а потом, завернувшись в махровый халат, включал телевизор. Купил мыло и веревку, соорудил петлю, но не повесился: помешала гордость за кое-что из напечатанного. Слабый, разбитый, хотел поджечь публичный дом и вынести из огня ту, которую называют Таточкой. Написать сборник бездарных стихотворений и бросить к её ногам – пусть топчет. Преклоняться и знать, что беспрестанно грешу... Не выдержал и перед рассветом кинулся на кладбище, зарёванное ливнем чужих безутешных слез. Кто-то нарисовал наверху длинную лунную тропу, не знающую конца, но не дошёл – смыло дождем. Лёгкие чернели от тошнотворного дыма. Две женщины в чёрном курили крепкие сигары, и ветер доносил до меня добрую

долю дешевого никотина. Они жеманно посмеивались и тотчас же театрально всхлипывали; обе были в сетчатых чулочках и тяжёлых башмаках на платформе. К обеим головам как гвозди были прибиты безобразные чёрные шляпки с огромными вороньими перьями. Обе вскрикнули от моего покашливания и разом повернули ко мне размалёванные выбеленные лица с выделяющимися кроваво-красными губами.

– Ох, мужчина! – вскричала одна.

– Боже мой! – вторила вторая.

– Что вы здесь забыли? – затараторила первая.

– Рабочий день уже начался? – изумилась вторая.

– А мы имеем право отдыхать?

– Да, правда, имеем?

– Есть у нас это право или нет?

– Мы не хотим умереть, как наша подруга!

– Да-да, не хотим умереть, как Тата...

– Ах, бедняжка!

– Страдалица!

– Святая!

Я попытался поскорее оборвать эту петушиную словесную перепалку, к тому же, одно имя врезалось в уши – через нос – в мозг – вместе с отравленным воздухом.

– Постойте, вы говорили о Тате? Что вы о ней знаете?

Кто вы?

– О, кто мы?

– Он спрашивает: кто мы? – горе-актрисы переглянулись

и фальшиво расхохотались – для эффекта.

– Мы подруги Таточки!

– Да, мы её подруги!

– Она оставила нам письмо.

– Да, оставила письмо!

Одна из женщин вытащила скомканный лист бумаги, как будто случайным движением обнажая грудь.

– Я буду читать!

– Нет, я хочу!..

Я выхватил письмо. Женщины нахмурились.

– Фи, какие мы грубые!

– Какие безнравственные!

«Дорогие Лили и Кити! Надеюсь, вы отнесётесь ко мне с пониманием. Мне больше некому писать письма, потому что у меня никого не осталось. То, что я делаю, это мой осознанный шаг. Помните, я говорила, что не верю в настоящую любовь? Лили, ты еще плакала, а Кити вытирала твои слезы. Я поклялась, что умру, если когда-нибудь смогу полюбить, если встречу мужчину, который сделает меня счастливой хотя бы на мгновение.

Лили, перестань плакать и не думай о плохом. Твой Ронни обязательно вернётся к тебе, ведь Минни – пустышка, и он скоро это поймет. Кити, поцелуй от меня Лили и не давай ей лить слезы. Я люблю вас. Похороните меня вместе с моей дочкой.

Ваша Тата».

Я оторвал взгляд от письма и посмотрел на могилу. Грубый и злобный дикий ветер сорвал с голов двух женщин их нелепые шляпки. Какая-то безумная мысль вытолкнула меня с земли. Я даже не успел понять её и обдумать, что это может значить. Мне показалось, будто моё тело рассыпается на тысячи мельчайших частиц. Я продирался сквозь дебри жизни и не мог ни остановиться, ни дойти...

II

Бессовестно непоколебимая осень упала в многострадальное небо, когда Владимир спасался от бессонницы в умытом дождём саду. Он набрёл на следы одиноких женских ног и уже не мог оторвать глаз от светлых кудряшек, напоминающих дубовые листья, и рябиновых губ – наклонись и разбей по ягодкам, только не отравись. Подошёл, чтобы обнять тонкий стан, похожий на липовый ствол, но не посмел коснуться: платье опасно зашелестело, точно все листья Вселенной ливнем посыпались на землю, желая укрыть её от холодного солнца. Женщину звали Татьяной, но среди мужчин она была известна как Таточка – детский лепет из уст животного с атрофированным разумом. Но кроме имени она торопилась рассказать первому встречному кое-что ещё: о том, как продиралась сквозь дебри и клала алые розы на могилку погибшей дочери, о том, что когда-нибудь будет лежать вместе с ней и попросит прощения... А пока – вымолила его

только у хозяйки и, уверив её, что больше не забеременеет, продолжила работу. Все равно некуда деться.

Владимир готов был приютить чужеземку на ночь, но зазвонил телефон, и через несколько секунд раздался Лидин голос:

– Дорогой, приедешь сегодня ночью? Я хочу узнать, что там после пятой главы.

Он неловко задел Татьяну плечом и прошёл мимо – к другим ветрам, другим идеалам.

Лидию он воспринимал как отец родную дочь, пока она не надевала его любимое платье, обнажающее плечи, и не превращалась в любовницу. В нём просыпалось вдруг почти животное желание, и он насыщал плоть до тошноты. Лидия в такие моменты становилась жертвой для палача. Скоро они поженятся и превратятся в обычных супругов, вечно ругающихся и ищущих объедки любви на чужом столе. Но лучше с Лидией, чем с другой, ведь больше никто не согласится разбирать его корявый почерк и набирать на компьютере его рукописи. Если бы не она, никто бы вообще не знал, что он писатель.

– Мой любимый, ты когда-нибудь думал о том, что будет после пятой главы? Почему ты с таким равнодушием к этому относишься?

Лидия – помешанная, и это он, Владимир, сделал её такой: только и мысли что о его романах.

– Хочешь, давай придумаем вместе... Я знаю...

– Забудь, дорогая, – он трижды поцеловал её безвкусную кожу пресным поцелуем – в макушку, лоб, губы. – После пятой главы будем только мы: я и ты, разве это не прекрасно? Я буду держать твою руку, а ты сожмешь мою – и мы с тобой пропадем. Не это ли главное? А роман – это фикция.

– Ты так хорошо говоришь, – уткнулась носом в его волосы. – Говори об этом еще... Пожалуйста...

...Лили потягивала алкогольный напиток и неуклюже посапывала носом. Кити достала шелковый платок, чтобы быть готовой вытирать слезы несчастной подруги. Тата, покрасневшая после головокружительного танца, обняла обеих и провозгласила:

– Я объявляю протест всему тому, что называют любовью. Её не существует – ни в этом душном от женских духов доме, ни в соловьином саду.

– Ты бредишь, милочка, а как же мой Ронни? – возмутилась готовая плакать Лили.

– Да-да, а как же её Ронни? – как эхо повторила Кити, всё ближе поднося платок к щекам подруги.

– Это всё выдумка, дурочки! Иначе, зачем бы он пошел к этой пустышке Минни? Вы знаете, если я когда-нибудь познаю настоящую любовь, то добровольно влезу в петлю, – и она, шатаясь от пьяного угара, привлекла к себе непривлекательного мужчину и что-то зашептала. Он растерянно закивал головой, спросил о цене и, наконец, сдался.

Тата одним резким движением бросила кавалера на кро-

вать.

– Татьяна, милая, может быть, полегче? Ведь я уже не так молод, как хотелось бы.

– Да что вы!.. Какая я вам Татьяна? Зовите меня Таточкой. Она была так нежна, что можно было даже заподозрить её в искренности, если бы не глаза – пустые-пустые глаза.

Небо опрокинуло на землю ковш с медными звездами, осень торговала телом на одной из мусорных свалок, луна сокрушенно чертыхалась, а люди, ежедневно продираясь сквозь дебри жизни, вконец уставали и падали в сон, ища в нём спасение для своей отступницы-души.

Рубашка

Пахло грязью, дождём, копотью и детским мылом. Трещины на руках жадно пили тёплую воду. Женщина почти не чувствовала физическую боль, её искусанные до крови губы нервно дрожали. Но – ни звука. Первозданная доинтеллектуальная тишина толкала опять куда-то назад – в воспоминания – в эту бездну страстей, давно отцветших, но всё ещё колючих до сентиментальности.

Циничная смерть держала в ладонях жало жизни; вступая в поединок, она всегда побеждала, но всякий раз её успех казался неожиданным. Женщина в героическом экстазе тёрла шершавую ткань, стирая, наверное, всё-таки пальцы, но, не разгибая спины, боролась, как будто это было актом покаяния. Чувство необъяснимой вины знакомо каждому чувствующему – особенно перед лицом узаконенного кровопролития – войны – страшной непобедимой стихии.

Женщина истратила полкуска мыла, чтобы оттереть въедливую кровь, и всё же не до конца – коричневое пятнышко на груди ещё не давало ей покоя.

Когда они впервые встретились, он рисовал этюды, чтобы продавать на рынке за гроши. Она – юная, воспитанная, симпатичная, но не красивая девушка, молитвенно сложив руки на груди, шептала восторженные слова. В то время она

пописывала рифмованные тексты, которые совсем чуть-чуть недотягивали до стихов, и получала высокие оценки по литературе, потому что всегда добросовестно выполняла домашние задания. Он – художник-троечник, не окончивший даже средней школы, был неплохой человек и, в общем-то, чувствительный даже к самой пошлой, обыденной красоте.

Когда он нарисовал её портрет и отдал, не потребовав ни рубля, она поняла, что вот это именно его и описывают в книгах, и ей теперь суждено стать главной героиней любовного романа.

– Какая у тебя красивая жена, – льстил будущий фронтовой товарищ. – Да ты в рубашке родился! Глядишь, и сын вырастет настоящим мужчиной, – сосед легонько похлопывал по её круглому, как земной шар, животу. И мать была счастлива оттого, что они с мужем совсем не отличаются от других маленьких людей, она – второсортная поэтесса, он – безработный маляр, и будущий сын – улыбчивый мальчонка...

Женщина принялась отжимать – сначала рукава, потом – воротник. В мутно-красной воде она видела отражение своего сосредоточенно-напряженного лица. Солдатская рубашка пахла мылом и какой-то неуловимой тихой скорбью, тоской по тому счастью, которое было нагло украдено промышленной воровством смертью.

Коричневое пятнышко всё ещё угрюмо поглядывало на окончательно потерявшую терпение женщину: оно напоминало, оно звало в самые темные и самые неприятные глу-

бины подсознания, где особенно тесно и душно. Женщина прикрыла рот рукой, чтобы подавить позыв, и едва смогла справиться с всегда непререкаемой тошнотой. Мыла почти не осталось, потрескавшиеся пальцы опухли и гудели от боли, спина ныла так, что даже разогнуться и выпрямиться получилось с трудом.

– Я хочу, чтобы он был таким же счастливым, как и я, – говорил новоиспечённый отец, с трепетом прижимая к груди кричащего младенца. – Пусть его будут звать Андреем, как и меня, – он поцеловал маленький лобик, – ты у меня тоже в рубашке родился...

Она до сих пор помнит, каким вкусным был воздух после невыносимых дней, проведённых в роддоме, и какую необыкновенную лёгкость она чувствовала в области живота, будто освободилась от чего-то особенного и тяжелого, – через долгие христианские муки даровала-таки жизнь новой плоти и душе.

– Знаешь, что такое настоящее счастье, дорогой?

– Не знаю, но ощущаю.

– И я тоже ощущаю. Невозможно знать всё обо всем на свете, да и жить одним разумом – всегда такая скука... Я так счастлива, что у меня есть ты и наш сын, и этого достаточно, чтобы никогда не роптать.

– Те, кому дан один разум, чаще всего глубоко несчастны. Их чувства притуплены, сердце работает не в полную силу, они не умеют довольствоваться малым. Мы же – другие, про

таких говорят, что они родились в рубашке...

Женщина повесила рубашку своего мужа на улицу, зацепив деревянными прищепками, чтобы ветер с вражеской стороны не сорвал лёгкую ткань. Почему рожденные в рубашке не бессмертны? Она простодушно завидовала тем женам, чьи мужья присылали короткие письма (ведь, значит – живы), тем людям, которые жили вдалеке от вулкана беспощадной войны, и уже не ощущала нечто, названное ей прежде счастьем. Неужели остался только разум?

Она горько смеялась над девическими стихами, написанными *его* рукой. Ей никогда не нравился свой почерк, и она просила мужа переписывать для неё. Он делал это так, точно горячо молился перед иконой, и не было ничего значительнее, чем это священнодействие: даже собственные картины отходили для него тогда на второй план.

Было уже полпервого ночи, когда усталая женщина, недавняя военная медсестра, достала старенький уют и начала бережно разглаживать серую рубашку. Она всё ещё пахла её последними слезами. Муж погибал в госпитале долго, мучительно долго, но никто не посмел поднять руки, чтобы прервать агонию. Когда остановилось сердце – его разум отключился, и кроваво-красное пятно расплзлось на груди, приняв обличье злой кляксы, какие бывают в ученических тетрадах.

Женщина самозабвенно гладила переднюю сторону рубашки, где всё ещё виднелось (быть может, заметное лишь ей

одной) коричневое пятнышко. Она случайно обожгла пальцы и отскочила; это было невообразимо больно, трещины кровоточили, и она боялась теперь вернуться к гладильной доске, боялась испачкать выстиранную, пахнущую детским мылом рубашку. А ведь у неё осталось меньше, чем полкуска, да и к утру рубашка обязательно должна быть готова.

– Наш сын такой умный, – делился Андрей-старший, обнимая хозяйственную жену за плечи, – я уверен, что он будет инженером.

– Боюсь, что это помешает его счастью. Лучше бы он был обычным человеком, как мы с тобой, и умел чувствовать и ощущать, а не только считать.

Мужчина поцеловал женщину, чтобы успокоить, но никто и подумать не смел, что это может быть последний поцелуй.

Да, тогда она в последний раз ощущала нежное прикосновение невесомых губ и уже почему-то предчувствовала дурное: ей казалось, что все вокруг теперь как бы нереально, призрачно.

– Ты ведь не уйдешь? – спросила она во сне, а он уже застёгивал пуговицы...

Наутро женщина достала выглаженную рубашку и позвала сына.

– Примерь, тебе должно быть как раз.

Андрей нервно откашлялся и нерешительно посмотрел на мать.

– Мама, а мне обязательно... на войну?

Это был пугливый лопухий мальчишка, лет пятнадцати-шестнадцати, круглый отличник, абсолютно, однако, не приспособленный к жизни.

Женщина помогла ребёнку застегнуть пуговицы; она вздрогнула: почему-то ещё отчетливее, ещё сильнее обнаружилось на груди рыжее пятно.

– Мама, я ведь тоже... да?

Она увидела его большие испуганные глаза и отвернулась.

За окном бушевала гроза, природа рыдала о безвременно погибших, свежая утренняя роса выдавала надежду, что в этот день никто не умрёт.

Пластилиновый человек

В шесть часов утра, прервав долгую молитву во славу расцвета, вышел из дома пластилиновый человек. Он никогда не задумывался, что может чем-нибудь отличаться от других людей, и, щупая мягкие ладони, уверял себя: все вокруг тоже пластилиновые. Впрочем, отличить было действительно невозможно, если только верить отражениям в зеркалах. Две руки, две ноги, круглое туловище с необъятным животом, прямой нос с широкими ноздрями, бегающие глазки и волосы, бесконечные волосы: кудрявая голова, длинная борода. В общем, красавец выдающийся, и такой мягкий на ощупь, что можно лепить, лепить и лепить, а потом разрушать, разрушать и разрушать.

Небо – румяное, счастливое, как детское личико, тоже наверняка было пластилиновым; и человек любил его разглядывать и разгадывать, льстило ему, что они созданы из одного и того же материала. Где-то наверху есть Бог, но наш герой никогда его не видел и потому слепил из пластилина маленькую фигурку, чтобы не утратить веру. Утром и вечером склонялся перед ней на колени и, молитвенно сложив руки, путал слова. Главное, что Бог тоже сделан из пластилина.

Иногда пластилиновому человеку становилось так весело, что он включал пластилиновый магнитофон и устраивал

пластилиновые пляски под пластилиновые песни. Звук оглушал всё и всех; у соседей снизу сыпалась штукатурка, и они, пластилиновые, поднимались на грохочущий этаж, чтобы устроить громкую пластилиновую истерику. Тогда бедняга принимался плакать и кусать пластилиновые губы. Он чувствовал себя самым одиноким на всей этой пластилиновой планете, как будто кто-то жестокий поселялся внутри его пластилинового тела и что-то сверлил, затеяв ремонт. Человек подходил к окну, облакачивался на подоконник и устремлял лицо к небу. Ветер, тёплый и вечно какой-то хмельной, довольно щипал добровольца за нос. Наш герой чихал и думал, кто же мог слепить это пластилиновое небо, если Бога слепил он сам? Может быть, человек и есть верховный законодатель и при всём этом большой выдумщик? Зажмурил глаза и приказал небу сменить цвета. Цвета изменились, но не так, как того хотел пластилиновый философ. Все эти приходящие незваными гостями вопросы погружали страдальца во всё большую бездну неизбывного отчаяния.

Шёл он, пластилиновый и печальный, да встретил вдруг хитренького человечка с лохматой головой и сладенькой, как сироп, улыбкой.

– Поможешь с работой? – и вроде бы спросил, но в то же время приказал, а пластилиновый человек вообще не умел отказывать людям. Ему нравилось быть мягким, и он позволял другим лепить из себя, кто что пожелает.

Дали герою – спасателю человечества – топор. Потре-

нировался, в стороны поразмахивал, так, глядишь, выйдет что-нибудь. Что-нибудь и вышло. Пластилиновый человек срубил, сколько нужно, деревьев и вытер со лба выступивший пот. А они были прекрасные, стройные, живые; вечерами под их сенью рождались самые чудесные творения, деревья глядели в чужие блокноты, читали и радовались, что могут кому-нибудь дарить добро. Тополя и ивы, обручённые друг с другом, каждый день молились Богу о счастье и здоровье людей, ведь любили, несмотря ни на что, хотели, чтобы они очнулись, прозрели и научились пользоваться сокровенными запасами неистощимой энергии. Пластилиновый человек все понял: есть энергия, нужно её расходовать, взял топор и срубил плачущие, потому что их предали, деревья.

Хитренький мужчинка по-приятельски похлопал помощника по спине:

– А теперь вытяни ко мне свои чудесные-расчудесные руки, отблагодарить хочу, – и, хитро улыбнувшись, ударил топором по мягкому, чувствительному пластилину. Наш герой посетовал только, что не сможет больше молиться пластилиновому Богу. А в остальном ничего страшного, ведь у него есть ещё ноги.

Ветер кусался, листья уничтожали следы, хороня их в красно-жёлтых могилках. Люди отбрасывали тени, солнце устраивало театр, куклами стали мысли, слова, жесты, а Кукольник играл на флейте, – невидимый рыцарь, живущий на самой высокой горе. Пластилиновый человек сел

на траву, чтобы съесть пластилиновый обед из пластилинового контейнера. Какая-то узколицая личность *с руками* помогла ему.

– Но ты, наверное, знаешь, что за любую помощь принято платить, – у собеседника хищно загорелись глаза. Наш герой застенчиво улыбнулся и согласно покачал головой.

– Хорошо, что ты это понимаешь, идём же!

Некий замороженный человечек лежал на земле и уже почти добровольно принимал на себя удары миллиардов ног. Он не плакал, не кричал и не взывал к Богу, а молча покорялся своей незавидной участи.

– Ты тоже должен его ударить, чтобы быть как все, понял? – вот что сказали пластилиновому, и тот, втянув голову в плечи, с силой, с размаху пнул лежащего в живот.

Если не быть как все, пластилиновая теория теряет смысл. Так думал наш обезумевший герой, так думал измученный пластилиновый мир, а человек с узким лицом назвал безрукого «героем» и в знак глубочайшей признательности оторвал ему ноги.

Тогда пластилиновый колобочек покатился по широким полям: как хорошо, что у него всё ещё есть голова и он до сих пор умеет думать. Он был уверен: все люди всегда размышляют об одном и том же, ведь они нисколько не отличаются друг от друга, у них одинаковые пластилиновые мысли.

За стёклами ресторана беззвучно двигались фигуры, окружённые полумраком и тонкими многоцветными запаха-

ми. Пластилиновый человек заворожённо открыл рот; танец казался тёплым и мягким, ещё мягче, чем всё его тело, и хотелось построить мост, чтобы быть принятым в круг. «Почему я здесь, а они там? Ведь я делал всё для того, чтобы ничем не отличаться от них».

Но всё рассеялось, как волшебство, потерявшее волшебника, и из многоэтажного дома вышла толпа с огромными разрисованными плакатами. Волна подхватила пластилинового человечка и понесла напрямик на главную площадь.

– У тебя нет ни рук, ни ног, но ты можешь кричать, – шепнул новичку длинноногий великан с зонтом. А новичок с радостью согласился, ведь он снова мог быть полезен людям, а главное, находиться рядом с ними и ощущать себя их частью.

«Нет образованию, – изо всех сил кричал пластилиновый, – образование убивает интеллект!»

Пошел дождь, раскрылся зонт, великан обнял крикуна и пообещал его, как следует, вознаградить. А потом попросил закрыть глаза и вдруг снял с него голову. Пластилиновый кусок утратил-таки способность думать, но у него всё ещё оставалось сердце, он мог чувствовать радость и боль.

В город вошла плавная вечерняя жизнь, зажглись фонари, загрохотали каблуки. Всё вокруг казалось пошлым и наивным одновременно. Фальшь и истина, ложь и правда переплелись в единство и принялись целоваться в углу. Часть поцелуя досталась и пластилиновому, в сердце затыкали за-

ржавленные иглы. Барышня в лиловой шляпке погладила бедняжку по спине.

– Ты любишь меня, дорогой? Любишь ли ты меня так же, как я люблю тебя?

И тогда пластилиновый комочек с громко бьющимся сердечком теснее прижался к исцелительнице, поверив в искренность красивых слов. Насладившись мягкостью пластилинового тела, она вырвала из него горячее окровавленное сердце.

Чуть выше фонарей зажигались звёзды, яркие, изящные, мудрые. Если дольше, чем обычно, наблюдать за переплетениями созвездий, можно совершенно точно назвать их живыми. Не бояться, что ошибся, потому что это единственное НЕ заблуждение из цепи заблуждений, небо не знает насмешек над истиной и правдой. Звёзды играют, танцуют, живут и надеются, что кто-нибудь в этом пластилиновом мире выглянет из окна, посмотрит наверх и, втянув запах новорождённой ночи, прикрыв глаза от восторженного наслаждения, зазвучит: «*Я живой*».

Несуществующий диагноз

Кап-кап. Чёртов кран! Когда же его закрутят эти большие красные руки? Кап-кап-кап. Жутко действует на нервы. Медленно поворачиваю голову. Шея болит. Значит, всё в порядке, значит, тело царапает неврастеническое пробуждение. Неврастеническое пробуждение царапает тело. Раз – и слабо скольжу по грязной простыне. Два – шевелятся пальцы на ногах, – почти счастлив. Три – с трудом разлепляю веки и... четыре – открываю глаза. Широко. Кап-кап-кап-кап. У меня длинные ресницы, – чувствую их кожей. Чувствую, но не вижу. Я не вижу свое лицо вообще. И ты, и ты, и ты – тоже (не видишь). А если мы его не видим, как можем утверждать, что оно есть? Вы скажете, – посмотри в зеркало, и ты поймешь. И я пойму, что ни черта не понял. Зеркало идеализирует человека; и это никакая не глупость, а чистосердечная правда, про которую лгут все зеркала. Твердят, мол, «вы, люди, ничего не понимаете, мы созданы ради истины, во благо ей», а на самом деле ласкают твой бесконечный эгоизм. И если бы я сейчас увидел хотя бы одно зеркало, плюнул бы в своё несуществующее лицо, лицо-проекцию, пародию на настоящность.

Кап-кап-кап-кап-кап. Кажется, он безбожно протекает. Оплошность сантехника! Я срываю со своего незнакомого

тела огромное, как мутировавший лист, одеяло. Всё тихо. Мне – страшно. Глаза отвратительно-мерзко болят. Может быть, я ничего не вижу? Страшная догадка подпрыгивает в ошалевшем мозгу, как будто кто-то натирает виски нашатырным спиртом. (От одного воспоминания об этом запахе вздрагиваю!)

Я неслышно пробираюсь к окну. Провожу пальцами по гладкой поверхности пыльного стекла. Мне кажется, оно не хочет мне подчиняться. В чём дело? Я же никого не целую! Корчась от боли, закрываю глаза. Всё равно от них никакого толку, – я и вправду ничего не вижу. И всё-таки я знаю, что там за окном. И всё-таки меня бросает в жар, когда я думаю обо всём только что осознанном. А когда я думаю, хочу обратно. Я хочу вернуться в мой беспмятный мир комы.

Кровавый вечер суется в объятиях черного плаща, а я всё время спрашиваю... Где я оказываюсь? На какие координаты закинута моя душа? И как их высчитать, как узнать точные цифры? Нужны ли для этого специальные приборы? Или поможет только разум, скептический разум, извечный помощник?.. Я стою у окна, за окном – чей-то мир, который должен был стать моим. Но этот крошечный кусочек нашей Вселенной, что за окном, что вне моего замкнутого пространства, остаётся для меня космически недоступным. Я его не вижу, я всё осязаю, всё время осязаю, поэтому заработал аллергию на вещи. Вы, конечно, рассмеётесь, мой

иронический слушатель, но я говорю правду и ничего кроме.

У меня действительно аллергия на вещи, и если бы это было диагнозом, то называлось бы какой-нибудь тактиломи-ей, наподобие всяких разных шизофрений. Мои тактильные ощущения обострены, я вижу людей насквозь через молчаливый диалог с теми предметами, к которым они прикасались. Я узнаю миллиарды историй, испытываю боль, ненависть, страсть, страх, становлюсь самой эмоцией, отпечатком оставленной на моих предметах. Я называю их так: «мои предметы». Эгоистично возомнил себя собственником. Но если только я их ощущаю, чьи же они еще? Мне скажут, так не бывает, и я всё выдумываю, я психически болен, неустойчив, агрессивен и что-то в этом роде. Мне скажут, такой болезни с причудливым названием «тактиломия» не существует, а значит, и я не существую, потому что пациент без диагноза – это как человек без имени. Вы глубоко заблуждаетесь, я существую. Су-щес-тву-ю. Ведь я всё-таки мыслю.

Я хотел выбрать себе дом на ощупь. Чтобы было всё по-теплому и по-уютному. Чтобы можно было греться у камина и жевать шоколадные конфеты. Чтобы рядом находился тот, к кому приятно прикасаться. Я хотел, но оказалось, всё предрешено.

Как-то вдруг мой товарищ пообещал подарить мне новую жизнь.

– Я не собираюсь ничего тебе объяснять. Просто напивай-

ся и ни о чем не думай.

Под «напивайся» он понимает «бери от жизни всё». Просто ненавидит банальные фразы и не любит повторяться. Я вцепляюсь в его руку и испытываю паралитический шок. Смеюсь и ругаюсь, – обругиваю пустоту. Красноречиво играю его жалкую роль подлеца. Это демон Гамлета, сатана судьбы, строптивное животное, пытающееся выкарабкаться из капкана. Я чувствую, как кровь течёт по моим измождённым рукам, – пытаюсь задушить чьё-то ничтожество и чью-то неспособность на месть. Я чувствую, как лицо безотказно содрогается под натиском огромных человеческих кулаков. Во мне нарастает отчаянный дикий страх. Меня ненавидят. Меня презирают. Меня втоптывают в грязь. Я не сам такой, это они – бесенята с широко распахнутыми глазами – делают из меня беспомощное существо. Толпятся и шлёпают тяжёлыми школьными портфелями. Больше не могу держать эту горячую ладонь.

– Я просто больше не выдержу! – что было сил, кричу я, резко отгалкивая своего обомлевшего товарища.

– Ты такой нервный...

– Нет, ты ошибаешься, это всё ты, ты нервный.

– Почему?

– Потому что несколько секунд назад я был тобой.

– Смеёшься?

– Никогда меня больше не трогай.

– Замечательно. Не буду.

– Спасибо.

– Да катись ты к чёртовой матери!

Больше всего на свете я хочу быть обычным незрячим. Тогда бы не пришлось сражаться с реалиями этого блудливого вечера. Тогда бы набережная, по которой я иду, стала бы просто набережной, люди, которых случайно задеваю плечом, – просто людьми. Клянусь, нет ничего беспощаднее, чем заглядывать в чужую душу. Это самый эффективный вид смертной казни, – пытка не кончается никогда.

Когда я иду по набережной, тысячи людей проходят мимо, обнажая своё существование с помощью тонких дуг неизбежного шума. Да, люди и шум – две неотделимые друг от друга вещи, даже если вокруг – безупречная тишина. Впрочем, я тоже шумный, беспомощно шумный. Мы все такие; и чем больше мы люди, тем больше шумим.

– Почему тебе нравится жить? – спрашиваю я у своего товарища.

– Я не знаю.

– Совсем?

– Не совсем.

– То есть ты боишься ответа?

– Нет. Я не хочу об этом думать.

– И всё-таки?

– Ты над всеми так издеваешься?

– Я просто хочу знать.

– Хорошо. Я мазохист. Потому что я мазохист. Мне нра-

вится жить, потому что я мазохист, – нервничает, – ещё повторить?

– Нет.

Мой странный товарищ погорячился с вопросом: «ты над всеми так издеваешься?» У меня нет этих «всех», я оторванный ломоть. Гуляю по набережной и собираю ощущения, как коллекционер, которого уже тошнит от своей коллекции. Когда люди бьются локтями и задевают моё тело, мозг готов взорваться от переизбытка гормона ощущений. А я ещё должен казаться нормальным. Ну клоун, честное слово. Только я не хочу в цирк.

Я готов бежать в поисках нехоженных дорог. Я молюсь, чтобы и для меня нашелся какой-нибудь необитаемый остров. Хочу жить, как Робинзон Крузо, но никуда не возвращаться.

– Что с тобой происходит? – как будто интересуется товарищ.

– Где бы я ни был, я по несколько раз переживаю моральную смерть.

– Ты шутишь! – не верит он.

– У меня нет чувства юмора, – подвожу итог.

Тяжело раненные жизнью, измученные, избалованные и прочие кусачие существа врываются в меня, разбивая вдребезги, бродят по венам, купаются в крови и насильно заставляют вкушать свои страдания. Делая шаг вперед, я всякий раз наступаю на чей-то след, – шквал историй накрывает

меня с головой огромным вещевым мешком.

– Доктор, я ведь не вполне здоров, правда? – спрашиваю в стенах мрачной больницы.

– Ты настолько здоров, что проживешь не меньше ста лет.

– Вы это всем говорите?

– Не совсем. По крайней мере, у тебя крепкое сердце.

– При чём здесь сердце? И что такое сердце?

– Сердце – это счётчик.

– Моих дней?

– Твоих дней.

– Моих оставшихся дней?

– Ребёнок.

Каждый день я узнаю слишком много историй, тщетно пытаюсь завязать свои сюжетные линии. Наверное, чтобы лучше узнать главного героя. Главный герой – конечно, я. (Погребённый заживо под ворохом чужих жизней).

Мой товарищ настойчиво приводит ко мне девушек, которых мне полагается любить. Но как только мои губы касаются их омерзительно больших ртов, я падаю на колени, чувствуя себя обескровленным; они как бомбы замедленного действия, а я их обезвреживаю.

– Милый, что такое? – воркует какая-то бесцветная.

– Не прикасайся ко мне.

– Но я люблю тебя!

– Люби, только не прикасайся.

Омерзительно шумная пощечина. А потом – громко хло-

пает дверь.

Я чувствую себя почти счастливым. Это означает, что моя украденная энергия скоро вернётся, если не делать лишних движений. Но о каких движениях может быть речь, если я даже на одном месте не могу стоять безболезненно?..

Из дневника Л.М.:

Чудный он очень, этот человек, славный. Даже красивый. Но жуткий – у него вполне осмысленный взгляд, точно он всё видит, абсолютно всё, просто не признаётся в этом. Как у настоящего слепого могут быть такие выразительные глаза цвета шоколадных конфет с ликёром? Что за мистика! В них пляшет такое любопытство, что, кажется, они способны видеть человеческую душу. Он и мою тоже видит... Он знает о ней больше, чем я, и меня это пугает.

Ходит очень медленно, осторожно ступая... Опирается на длинную трость, которую брезгливо защищает от чужих прикосновений, всё время останавливается, присматривается (мне так кажется!). Решительно никто не догадывается о его болезни. Чудной такой болезни, редкой, один случай на миллиард.. Тактиломия, как сам говорит, обострение осязательных ощущений. В общем, бред сумасшедшего...

– Знаешь, раньше ты любил кататься на мотоцикле. Хочешь попробовать и сейчас?.. – предлагает мой глупый товарищ.

– А он способен оторвать меня от земли?

– Еще как!

– А я ничего не буду чувствовать?

– Ни капли.

– Только ветер и скорость?

– Только скорость и ветер.

..Но он чувствует, чувствует что у неё сильные руки. Она сжимает его напряженные кости и почти ломает их, – те, что под кожей. Желание жить играет в её гитарной душе – лишь бы не оборвать струны, – это единственная цель. Она не думает, что и он может умереть. Важнее спастись самой. Хочет, чтобы через несколько часов её не вынесли в гробу. Или вынесли не её. На него она просто плюет. Не то чтобы не любит, но... Он должен её спасти, – это его единственная функция. Почему он её не выполняет? Почему он – сломанный радиоприёмник?

Удар приходится на лобную кость. Руки уже не поддаются лживым усилиям воли. Губы кусают эгоизм давно бессмысленного смысла. «Может быть, ты сделаешь что-нибудь? – кричит она. – Может, что-нибудь сделаешь?» Кричит так громко, что он её не слышит.

Осколок плотно входит в голову, заползает под вис-

ки, взрывает бессмыслицу мозга злой насмешкой судьбы. Кровь-вино-яд хлещет из неустойчивой плоти и пляшет под руку с медленно подползающей смертью. Впрочем, она уже давно бродит неподалёку и ждёт, ждёт, ждёт.

Он стискивает зубы. Он – страшный человек с несуществующим диагнозом.

Мне нестерпимо больно. Я только что *чувствовал* смерть своей возлюбленной. Я стал её плотью, её борьбой, её тщетным усилием выжить. Сжимаю руками виски. На лбу выступает пот. Плотные капельки скачут по щекам, скатываются на заляпанное невидимой кровью сидение. Открываю рот, впускаю в лёгкие тошнотворные облака губельного дыма и истошно кричу. *(Так вот, что было до!.. Так вот, что было до моей чёртовой комы!)* Нет сил терпеть такую бесполезную пытку. Нужно всего лишь броситься вниз, на асфальт, где вёе-таки легче (это наверняка из-за дождя, который смывает следы чьих-то историй). Ведь дождь ещё никем не запятнан. Тот, что падает с неба... Он единственный дарует спасение, не так ли?..

– Останови! Останови, я тебе сказал!

Товарищ нажимает на тормоз. Я – прочь на асфальт. Часто дышу и прорезываю товарища пронзительным взглядом.

– Ты в порядке? – как-то робко и немного виновато спрашивает он.

Отворачиваюсь и не отвечаю. Ненависть желчным потоком бросается в лицо.

«Иди к чёрту! – рычу про себя. – Пожалуйста, иди к чёрту!!!»

Из дневника Л.М.:

Он говорит: «Эта тактиломия, выдуманная врачами, – всего лишь название божьего наказания. И это наказание предназначено мне, только мне одному... Моя девушка погибла, а я выжил по каким-то чертовски несправедливым законам природы. И хоть бы ногу, что ли, сломал, или руку, или головой повредился... Так нет же, ни царапинки, ни изъяна, а только этот бредовый диагноз».

Та девчонка мечтала переставить местами чёрные и белые фигуры, чтобы поставить мат судьбе. Она очень сильно хотела жить, но её друг нехотя вырвал эту драгоценную жизнь.

В больнице беспрестанно уверяют: «Всё будет хорошо. Самовнушение – главное лекарство». Кажется, я вижу ехидную улыбочку обмана. Этаким слащавый голосочек подразумевает только такую бестолковую насмешливую физиономию.

Пальцы хрустят на липкой дверной ручке. Тысячи голосов

хором кричат в моём разрывающемся мозгу и...

...я слышу как люди умирают. Они цепляются за эту ручку, как за последнее средство спасения, и пытаются удержать равновесие, помогая себе двумя слабыми ногами.

– *Вы говорили, что всё будет хорошо,* – твердит голос с отчаянной злобой, – *говорили, что самовнушение – главное лекарство. Катитесь к чёртовой матери! Он умер... Почему он тогда умер?*

Я пошатываюсь, отпускаю ручку и, обессиленный, прислоняюсь к стене. Демоны потерянных надежд жадно перебивают друг друга в моей огромной голове.

Он не проживет и три дня... Помогите! Всё будет хорошо. Самовнушение... Катитесь к чёрту, твари! Он... выживет? Она скончалась. Мне больно! Воды, ради бога! Священника... У вас есть священник? Я вам ещё раз говорю, все будет хо-ро-шо. Мой сын повесился! Сделайте что-нибудь, доктор! У моей дочери шизофрения!.. Боже, спаси и сохрани. У вас рак легких. Всё будет... – я затыкаю уши руками, бегом несусь вон из этого затхлого городка, пахнувшего трупным ядом. «Сколько раз мне придётся умирать? А воскресать? А воскресать на раз меньше».

На улице я ни с кем не сталкиваюсь. Тщательно обхожу всех стороной, как будто вижу. Всякая близость мне противна. Всякая близость равняется ещё одной болезни, ещё одному угасанию.

Иногда возникает желание домашнего уюта. Хочется, что-

бы кто-нибудь обнял, привлёк к себе так, чтобы сделаться неделимым элементом. Хочется почувствовать такое же тепло, как от вязаных варежек. Но кто способен совершить этот подвиг ради меня? Лишь человек-чистый лист, каких нет в природе; за спиной каждого неизбежно вырастает столп отвратительных историй. Читая такие, я отворачиваюсь: не могу возлюбить, когда вижу только голые недостатки. Отрицательно заряженное всегда танцует на поверхности, тщательно скрывая что-то подлинное. Пока я копаюсь в ошмётках зла, мои ноги успевают сбежать от спящего добра.

Из дневника Л.М.:

Когда мы встретились, он походил на затравленного зверька. Беспокойно озирался по сторонам (глазные яблоки бешено бегали взад-вперед), водил носом, точно принюхиваясь, приглаживал мокрые от дождя волосы.

Я протянула ему руку. Он не ответил рукопожатием. Мой чудный человечек смотрел сквозь меня, сквозь мое исполованное страданиями тело. Плотно сомкнул губы и помотал головой, чтобы спастись от звуков. Мне захотелось одеть его в какой-нибудь непроницаемый скафандр.

Я тогда в один миг лишился всего: пародии на уют и фаль-

шивого друга, которыми, к слову сказать, жил и упивался, потому что ничего достойнее не находил. Впрочем, как можно обвинять моего доброго товарища... Он поскользнулся случайно, а, покотившись, просто не смог остановиться – кнопка «стоп» забарахлила.

Щёлкая словами, мой *идиллический* приятель стоит передо мной и нервно интонирует:

– Раскрась свою жалкую жизнь яркими красками, – плюется он, – поверь, это средство избавления от всего, даже от этой твоей тактими или как... Это реально работает, брат! – хлопает по плечу. Пребольно, но обнадеживающе. – Ты только попробуй. Дай-ка мне свою руку, я всё сделаю как надо.

– Оставь, – бормочу, отводя его теплую ладонь, – я сам. Мне не нравится, когда меня трогают... Ты же знаешь.

– Но как же... твоё зрение... Вены сложно найти на ощупь.

– Я найду.

Он как будто осторожно подаёт мне шприц. Я так же осторожно, даже интеллигентно, беру предлагаемый дар. В этот момент я мечтаю быстро ввести наркотик в вену и ни о чём не думать. «Пожалуйста, отключите мысли», – прошу, жажда окунуться с головой в состояние нирваны, пусть и на считанные минуты. Но мой разъярённый мозг работает ошеломляюще быстро. Он выбрасывает в меня несколько тысяч душераздирающих картинок. Держу в руке заражённый чу-

жой кровью шприц и разгадываю идейный смысл наркотика. Страсть ломки, жажда экстаза, аллергия души, падение в бездну, галлюцинации смерти, сыпь разбитого будущего, последний крик, тихий шёпот «прощай...» Всё вихрем кружится во мне, остолбеневшем, с орудием смерти в руках. Я борюсь и всё-таки уступаю, я мечтаю и оказываюсь у разбитого корыта, я глотаю пилюли и убеждаю себя, что соскочу, я пишу кровью слово «героин» и продаю тело за новую дозу, я успокаиваю маму и всё-таки забираю последние драгоценности, меня лечат электрошоком и я не выживаю; я – овощ, безвольное создание. Я – гарантия апокалипсиса, жертва химии, окурок несбывшейся мечты. Я – падший ангел, вообразивший себя Богом. Я добровольный больной (подписываю договор с дьяволом-наркодилером) и сам создаю свой ничтожный диагноз, за которым скрывается лишь одно... Отщепенец, один из отбросов общества, насилующий собственное будущее

Шприц с недовольным кваканьем шлёпается на пол. Я поворачиваю к конченным людям своё изуродованное ощущениями лицо и выговариваю два бесполезных слова:

– Это страшно.

И бросаюсь бежать, чтобы больше никогда не чувствовать ничего подобного. Не вижу смысла в том, чтобы становиться одним из них. За несколько секунд, что я держал в руках этот многострадальный шприц, я стал одновременно ими всеми, познал все свойства и действия испепеляющего разум нарко-

тика, прошёл все стадии и даже умер... снова. В такие минуты я мечтаю закопать себя в песке. Меня становится слишком много. Моё «я» – это слишком много личностей. Это почти миллиарды глупых мерцающих мотыльков, носящих гордое название «люди». Но я не мизантроп, нет; мне кажется, я даже люблю людей, просто неизбежно устаю от их бесконечных историй. Если бы на моём месте был писатель, он бы сумел воспользоваться ими себе во благо. Сидел бы да записывал, а потом продавал за миллионы и всеобщее признание. Но я не стремлюсь к их сохранению, пусть лучше у каждого останется свой личный фонд воспоминаний. Молю о забвении: не хочу ничего знать. Пустая голова да улыбка дурака – лучшие помощники. Вот уж действительно лекарство от всего, не то, что это ваше самовнушение. Слово-то какое выдумали, грандиозное.

Из дневника Л.М.:

Я была уверена: он от меня отвернётся, как отворачиваются все эти брезгливые люди, На мне – клеймо. Страшное, на половину лица, клеймо проклятого детства. Я пряталась в воротник куртки, чтобы шрам не так бросался в глаза. Я ведь не могла уйти, он загородил мне дорогу. Ужасно хотелось курить, хотя я никогда в жизни этого не делала. Будто сейчас это могло как-то помочь – облечь обна-

жённую тишину в шёлковое платье взаимопонимания. Чудак шаркал ногами, точно коллекционируя мои следы. Он как будто разглядывал их, рассматривал, хотя глаза были прикрыты, как в лёгком сне-отдыхе. Легонько коснулась его плеча; он жадно вцепился в мои пальцы и безудержно громко вскрикнул. Его огромные чёрные глаза пронзали моё лицо вместе с уродливым шрамом. Движением головы я откинула назад длинные каштановые волосы. Бросила вызов, мол, на, любуйся на мой шрам, если тебе так этого хочется. Что, не нравится? Не нравится, я спрашиваю? Но мой странный незнакомец загадочно улыбался – уголками искусанных губ. «Не насмехается, – заметила я, – тут что-то другое. Что-то совершенно новое. Да ему же... ему же плевать на шрам!» Я беззвучно засмеялась, сама не зная чему. И тогда он заговорил...

В поисках дома я обежал часть безобразно огромного города. Сомневаюсь, что в другой части нашел бы что-то большее. Ни одно здание, ни одна дорога, ни один человек не были отмечены печатью нужной мне невинности. Я не отыскал ни одного чистого листа – ошибки, кляксы, пятна выливались на меня кровью.

И тогда, в десяти шагах от конца света, я повстречал её. Это было у залива, и она оставляла следы на песке. Я стянул ботинки, чтобы лучше чувствовать горячие отпечатки её босых ног.

Досада, отчаяние, боль, обида, непонимание, предательство привычным шквалом накатываются на моё измученное подсознание. Но из жерла рассыпанных бед бьёт яркий свет, обнимающий каждую тропинку, ведущую к таинственным мирам человеческих душ. Он обнимает, но обнимает пустоту, потому что ничего не находит на этом длинном пути. Трясина и пустошь, – сюда ведут все эти треклятые дороги, вместо того, чтобы соединять судьбы. «Одиночка, вот она кто, эта девушка, – понимаю я, прижимая к вискам её дивные тонкие пальцы, – тоже искала счастье. Тоже искала уют и тепло, дом... Но её надежды ломали другие, чёрные завистники! И как после этого не сломаться самой?» – я целую её тёплую руку.

Свет ещё ярок. Он ослепляет меня, влечёт, хочет, чтобы я воссоединился с ней. Я пытаюсь заговорить, но изнутри вырывается только жалкий крик. Она еле слышно вскрикивает в ответ, и этот звук становится эвфонией, волшебной мелодией, наполняющей зашифрованное ею, её помыслами, её движениями пространство. И я прошу её заговорить со мной.

– Я не способен причинить тебе боль. Я ведь знаю, каково это. Я даже болен. Ты, конечно, не слышала ничего об этой болезни... Тактиломия – способность чувствовать людей, читать их истории через прикосновение к ним или к вещам... – я заставляю себя замолчать. (Дурак! Зачем быть таким многословным?)

– Ах, тактиломия... – как-то растерянно бормочет она, – значит, так это называется.

– Именно. Из-за этого диагноза ни с кем не можешь сблизиться.

– Точно. Близость с людьми невозможна.

– Но не со всеми.

– Разве?

– А как ты думаешь, почему я заговорил с тобой?

И она удивляется:

– А почему ты заговорил со мной?

– Потому что в тебе есть душа, – вспоминая про яркий свет, выпаливаю я.

– А разве её нет у других людей?

Не нахожу, что ответить. Протягиваю к ней руки, чтобы вдохнуть её всю.

Он поцеловал меня и назвал нас неделимым элементом.

А потом я говорю:

– Мы теперь неделимый элемент.

– *А как же шрам? – почему-то спросила я, как бы нарочно поворачиваясь к нему обезображенной частью лица, как будто он мог видеть.*

– Этот шрам принадлежит не тебе, но ты боишься отдать его законному хозяину.

– *Как это так? – не поняла я, коснувшись своей щеки.*

– Шрам – всего лишь частичка твоего прошлого, которую ты у него украла.

– Значит, это вовсе не моё клеймо? И я могу отдать его прямо сейчас? – мне стало совсем тепло.

– В точку, – радуюсь. – Ты ведь тоже читаешь меня?

Я не то чтобы понимала его, но слова хлестали из меня добровольно.

– Наверное. Ты думаешь, что мы теперь должны выкарабкиваться вместе?

– Не совсем, – неопределённо качаю головой, – то есть я хочу сказать, что слово «выкарабкиваться» не то.

– Значит, держаться вместе? – предположила я.

– Опять не то, – не соглашаюсь. – Понимаешь, одно слово в этом предложении лишнее.

– Ага, теперь всё ясно. Мы должны вместе. Ведь так? – я улыбнулась.

– Мы должны вместе, – подтверждаю и громко смеюсь. Непривычно слышать звуки собственного смеха.

– Дай мне руку.

– И мы куда-нибудь пойдём?

Я кивнула.

– Разумеется. И не куда-нибудь, а вперёд, к солнцу.

– К солнцу?

– К солнцу. Ты можешь видеть солнце?

Думаю о душе моей спутницы и киваю:

– Я – могу.

Волны катаются по скользким камням и кокетливо подмигивают золотистым песчинкам. А они, изнеженные теп-

лыми лучами, обводят две пары обнажённых ног. Настоящие художники, сохраняют их до каждой кожной складки и тоненькой линии. А неугомонные волны с любопытством наблюдают за этими осторожными движениями и, переглядываясь, задают один единственный вопрос: «А можем ли так же мы?»

Каинова печать

бытовая трагикомедия

«То участь всех: всё жившее умрёт и сквозь природу в вечность попадёт». Он думал, что Шекспир (Гамлет) прав. Он думал, что вот так всегда: течение жизни стихийно, и, если попытаешься остановить любым неправдоподобным жестом, – окончательно пропадёшь. Он думал, что легче жить, как скажут другие, чем задавать свой ритм. Он думал, что станет счастливым, если научится плясать под глухую музыку этого смертельно простуженного мира.

На сцене стоял юный бунтарь с прилизанными мыслями. И только тишина спасала от неотвратимого, и только мнимая свобода мешала прокричать истину, и только поруганная любовь держала в узде весь этот микромир, не давая рассыпаться. Ещё несколько ложных клятв – и чему быть, того не миновать.

Мальчик играл упрямо, но всё ещё как-то не вполне; и, хотя его движения были грифельно отточены, и голос крепок, как плоть, промахи казались тем сильнее, чем для него са-

мого незаметнее. Мюзиклы – вот настоящая стихия, и если попал в шторм, то берегись, но силы духа не теряй. Если актёр недостаточно хорош – это невозможно скрыть: он тщетно пытается держаться на плаву и, даже захлебываясь, упорно выплывает на берег. А солнце уже не греет, потому что предназначено не для него. Ты должен быть в самом центре, ни в чём не зная меры, не ведая края; никаких крайностей – это он, Владимир Иванович, успешный бизнесмен нового времени, завтрашний мэр, знал лучше всего. Потому что некогда сам... И вот восторженный юнец (о таких столько написано в книжках, что сложно поверить в их существование) подходит к Владимиру Ивановичу, радостно, порывисто жмет его жилистые руки и кричит, и благодарит, а будущий мэр слышит одно лишь: *«То участь всех: всё жившее умрёт и сквозь природу в вечность попадёт».*

– Твоя вечность имеет смысл только потому, что я обещал спонсировать этот мюзикл, – замечает Владимир Иванович.

– О, вы не представляете, как я вам благодарен! На выборах я буду голосовать только за вас.

«То участь всех: всё жившее умрет...» – бубнит про себя лысеющий мужчина в щегольском пиджаке с брюшком и усталым взглядом. – А дальше что? Надо же – запомнил».

Юля. Юлия. Юлечка. Очаровательная, полная сил, в меру упитанная, в меру бессердечная. Всегда чем-то недоволь-

ная, крикливая, похожая на медведицу. Идеал, соловьёвская София, Прекрасная Дама, Вечная Женственность. Умела варить борщи, стирать носки и давать мужу звонкие оплеухи – словом, прелесть, а не женщина. Возможно, Владимир когда-нибудь был в неё влюблен, но он почему-то этого не помнил.

– Ты бы с Кирюшей поговорил, он уже третий день не выходит из комнаты, – Юлечка, скрипя половицами, щедро наливала в глубокую тарелку мужа вчерашний борщ.

– Потом, – устало отмахнулся Владимир.

Жена сощурила недовольные глазки.

– Когда это потом? Ты вообще помнишь, что у тебя есть сын? А что, если он станет наркоманом?

Муж вытер мокрые усы и отодвинул тарелку – борщ пах вчерашним днем и в очередной раз напоминал о невозможности перемен. «А завтра будет тот же борщ?» – хотел было спросить он, но промолчал.

– Он не станет наркоманом. Сама говоришь, из комнаты не выходит.

– Если люди узнают, как ты обращаешься с родным сыном, за тебя никто не проголосует, – Юля вылила остатки борща в банку и поставила в холодильник.

Владимир Иванович вздохнул. Постучал в дверь. Никто не отозвался. Вошёл.

– Кирюша...

Сын покорял другие миры. Пусть делает, что хочет.

Владимир принялся засовывать руку в рукав дежурного пиджака, но сразу не попал: пришлось просить жену – как и всегда.

– Стой, а ты это куда собрался?

– Нужно оформить кое-какие документы перед выборами.

Зачем-то солгал. Там, за дверью, была иная жизнь, быстрой ланью ускользящая из виду, как только он, покровитель уютного микрокосмоса, переступал через порог. И всё играло, и всё дышало, и кружилось в карусели неуловимых секунд, но всякий раз как-то мимо, как будто всё это существовало независимо от человека и могло обходиться без него. Владимиру Ивановичу захотелось встать посреди улицы и крикнуть: «Но ведь я, есть я! Без меня вы пропадете!» Его внутренний голос заглушили детские голоса; он чуть не заплакал от этой несправедливости, от чувства, что его время уже как будто прошло, и теперь на смену придут другие, лучшие, а он умрёт, и никто его даже не вспомнит. Юлечка будет наливать вчерашний борщ Кирюше, а Кирюша – играть в компьютерные игры, и ничего не изменится, абсолютно никакого апокалипсиса, он, Владимир, – лишний.

Владимир Иванович роется в телефонной книге. Что, если взять реванш и попросить у сегодняшнего дня отсрочку? Задержаться в воспоминании, как округлые капли холодного дождя задерживаются на чужих воротниках. В сердцах от-

толкнуть треклятого мальчишку и сказать отчётливо, вслух:

– Я не буду спонсировать мюзикл, я буду играть в нём.

От предошущения щедро забилося сердце – так, что на миг показалось, будто всё на самом деле осуществимо, и ему шестнадцать, а не сорок один, и на голове – шапка юношеских кудрей, а не блестящая лысина.

Если ты будущий мэ́р и о тебе шумят жёлтые газеты, лучше никогда не выходить из комнаты или, по крайней мере, не заходить в бар. Владимир Иванович почувствовал возвращение этой давящей невыносимой тоски: его все знали, его приветствовали, над ним ехидно посмеивались: «Что это, господин мэ́р, решили расслабиться?» Мужчина заказал коньяк и беспокойно поглядывал теперь на часы. «Боже мой, когда он придет? Поскорей бы он уже пришёл». Но минутная стрелка намертво приклеилась к одной и той же цифре. Пора объявить бойкот тому, кто придумал весь этот механизм и обозначил тот порядок, что повторяется изо дня в день.

Валерий. Валера. Друг детства. Как всегда, в образе (вечный король Лир); за собственной Корделией, как водится, не уследил: связалась с плохой компанией, не ночует дома. Но его не волнуют никакие мирские заботы, он носит внутри себя рецепт идеальной жизни и с безукоризненной точностью следует предписаниям воображаемого врача. Он хорошо знает свою роль и наизусть помнит строки неоднократно исполняемой арии, он знает всё в пределах шекспировского

сюжета, но не знает ничего о жизни; ест, пьёт, спит, дышит через маску – и, в общем-то, доволен.

Время от времени поглядывая на часы, Валера тараторил:

– Извини, друг, но у меня сейчас скоро репетиция, поэтому совсем нет времени... Но, если ты хочешь, чтобы я проголосовал за тебя, будь уверен, я так и сделаю, – не допив коньяк, он уже собрался было уходить. Владимир Иванович схватил его за руки:

– Нет же, ты совсем не так меня понял! Я не прошу голосовать за меня, я лишь хотел поговорить с тобой. Вспомни, когда мы в последний раз встречались и выпивали вместе? Сколько лет с тех пор прошло!

– Да-да, – ловко вывернулся король Лир, – я понял, я обязательно проголосую за тебя, можешь не сомневаться, а сейчас мне нужно идти. Так да свершится вся ваша злая воля надо мной...⁷ – зачем-то процитировал он. – Всё, о'ревуар.

Тогда он, Владимир Иванович, был ещё симпатичным Володей, доброжелательным и очень талантливым мальчугоном. И вот он уже считывает с губ режиссёра замысел очередного мюзикла и встаёт во главе таких робких, таких простых, по сравнению с ним, ребят. Казалось, Володя никогда не ошибается, владея безукоризненным чувством ритма (Володя – владеющий). Ему завидуют и им восхищаются; все знают, что у этого мальчика – большое будущее и он перевернёт мир, если захочет...

«А я? Почему никто не замечает меня?» – Валера царапа-

ет руки; он хочет лишь заглушить тупую боль, но чем сильнее желание, тем эффект скупер. И он молчит, и ненавидит лучшего друга, и жаждет быть на него похожим. Но Валеру пожирает злой туман, ненасытное чудовище, расправляющееся с неугодными двойниками. «Ни к чему это пустое размножение, всё равно эволюции не предвидится».

Двадцать с лишним лет назад он, Володя, был королём Лиром, Валера же, жалкий дублёр, сидел в зрительном зале и невольно сжимал кулаки. Он обещал себе, что когда-нибудь станет знаменитым, что когда-нибудь затмит этого щуплого человечешку с сильным голосом. Чего хотел – то и получил.

«Интересно, Валера до сих пор меня ненавидит?» Владимиру хотелось выпить, но даже теперь мешали какие-то надуманные, навязанные извне правила:

– Господин мэ́р, вам, может быть, уже хватит? – осторожно предупредил услужливый бармен.

– Откуда ты знаешь, что я буду мэром? Ещё не было выборов, – мрачно заметил Владимир Иванович, допивая коньяк.

– Да бросьте вы, и так всё понятно, – и он подлил будущему мэру ещё коньяка, – я, например, буду голосовать за вас.

Миша. Михаил. Лаврентьев. Раньше – слабенький и к тому же инфантильный студентик, однако теперь – один из известнейших режиссеров. Оспорить его талант маловероятно, он совсем не так плох, как может показаться на первый

взгляд. Появился он совершенно внезапно, сел рядом с Владимиром Ивановичем, дружески похлопал по плечу, объявил, что ставит мюзикл по «Макбет» и что голова его полна захватывающих дух идей.

– Спасибо, братец. Если бы не ты – не видать мне такой карьеры. Обязательно проголосую за тебя на выборах.

Миша мог бы провалиться тогда, и его отчислили бы из вуза, но *deus ex machina*⁸ появился вдруг и как бы неожиданно, чтобы невзначай пожертвовать куском своей жизни во благо чужой. И вот он, владеющий, творит на сцене новые миры, и все актеры, теряя эго, шагают вслед за демиургом, потому что тот – верховодитель. А Миша нервно кусает губы, потому что потерял всякую цену в этих восхищённых глазах и потому что сам не может оставаться равнодушным.

– Вы ангел... – потрясённо произносит он, протягивая Владимиру дрожащую руку, – вы гений сцены. Вы – бог мюзиклов.

«Я знаю», – скромно улыбается юноша.

И вот теперь он, Михаил, – известный режиссёр, прославившийся благодаря той гениальной постановке, которую некогда подарил ему Владимир. А тот пьёт свой коньяк и думает, как вся эта нескладная жизнь душит его, но из плена собственного страдания никуда не выбраться, есть что-то сильнее этого, есть что-то по-настоящему непобедимое.

– Миша, Миша, и я ведь мог... – тихо сказал Владимир. Глазами забитого до смерти животного он смотрел на Лав-

рентьева.

– Да, Володя, я уверен, что у тебя всё получится и ты станешь мэром. Я обязательно за тебя...

И он ушёл, и Владимиром вдруг овладело чувство бесильной злобы, ему захотелось вернуть этого самоуверенного Макбета, плюнуть в лицо и предупредить: «Макдуфа берегись».

Владимир Иванович вышел из бара. Пьяный ветер брызнул в его фарфоровое лицо, и стало по-настоящему трудно дышать, как будто тебя вдруг лишили кислорода и... любви. Бежевые звезды на шершавом теле невидимого Бога стонали о своей тоже вроде бы несчастливой жизни; рокот надежд, растворённый в шёпоте вечернего ветра, всегда обманывал и смеялся – грозно, предательски, злорадно. Может ли быть такое, что нигде вовсе нельзя обрести покой?

Владимир остановился. Ему вдруг сделалось дурно в окружении облепившей площадь толпы. Выглядело так, точно он, один, пешка на огромной шахматной доске и никаких шансов выжить у него нет. Рефлексирующий мэр посмотрел на свои руки: они показались такими мёртвыми, что их хозяин даже засомневался в существовании не только плоти, но и души.

На сцену вышел брат. Братик. Андрей. Толпа, как рой назойливых мух, бросилась в ноги известному рок-музыканту. Он ненавидел правила, порядок, политику; он ненавидел всё,

что было связано с его старшим братом. Андрей никогда бы не отдал за него свой голос.

Владимир Иванович подошёл к самой сцене и слабо позвал: «Андрей!» Не было никакой надежды, что услышит, но всё-таки тот интуитивно повернул голову.

– Уходи, – его глаза, глаза наркомана, алкоголика, но всё-таки честного, порядочного человека налились кровью. «Да, я предатель», – тихо подумал весь как бы съёжившийся Владимир Иванович, маленький, беспомощный Володя.

– Брат, – одними губами произнёс он, – прости меня.

Андрей с силой топнул ногой.

– Уберите его! Уведите! Не буду я за тебя голосовать, мразь! – он сплюнул.

Владимиру хотелось принять этот ядовитый удар-плевок на себя. «Боже мой, да что они все заладили про одно! Я просто хочу попросить...»

– Я тебя никогда не прощу, тварь! – слышался голос младшего брата.

А ведь это он сказал почти двадцать пять лет назад: «Ты думаешь, ты меня убил, дрянь? Ты себя убил. Ты когда-нибудь пожалеешь об этом».

Брат всегда и во всём был прав. Он смог пойти против родительских запретов и даже протянул руку помощи Володе («пойдём со мной, Володя, пойдём в новую жизнь!»), но Владимир не только отверг её, но ещё и наплевал, наплевал пря-

мо в ладонь.

– Папа, ты знаешь, Андрей украл твои деньги из сейфа, чтобы сбежать...

Если бы он, Владимир, не побоялся тогда строгого отцовского взгляда, всё было бы иначе; если бы он пошел вслед за братом, если бы бросил к чертям нелюбимую математику и ринулся в стихию мюзиклов, то наверняка смог бы стать счастливым.

– Ты мой единственный преемник, Владимир, – похлопал сына по плечу отец. И тот послушно кивнул:

– Я не обману твоих ожиданий.

По ту сторону усталой земли стонали обожжённые кипятком звезды; они боялись, что когда-нибудь придётся отвечать за человеческие проступки, они боялись, что люди, как всегда, струсят и сбегут, исчезнут, а им, маленьким светлячкам, никуда не скрыться от зоркого Божьего ока.

«Почему так сложно следовать своей мечте?» – спрашивала Вселенная. И лучше закрыть глаза и притвориться неживым, чем просто ответить на вопрос.

«Да, я не брата убил, – он оглянулся: Андрей начал концерт – как всегда, энергичный, дикий, неуправляемый. – Я себя убил. И как я ему теперь завидую! Как я всегда ему завидовал! Потому и предал».

Андрей с детства любил играть с ветром и считать лебедей на небесных путях-перепутьях. Он был другим, бесстрашным, а Владимир – трусом.

*«Она меня за муки полюбила
А я её – за состраданье к ним»⁹.*

Может быть, действительно она? Она поможет, она воскресит, она позовёт танцевать на крыше. Когда их пальцы сплетались, вечность приостанавливала велосипед и воздушным поцелуем посылала влюблённым пару застывших мгновений.

Проза унылых однообразных дней уступала место припозднившейся, но всё же всегда желанной поэзии – той, что из области самых чудных грез.

Когда он впервые увидел эту «девочку с несчастной звездой»¹⁰ на сцене, сразу же всё понял: пора остановить поток повторяющихся смыслов и, гордо скинув капюшон, пойти навстречу пусть даже самому бессолнечному ветру.

Вика. Виктория. Дездемона. Помнишь, как мы танцевали под этим кружащим голову небом и целовали воздух, прежде чем соединить губы?

Когда Владимир впервые увидел её на сцене, он объявил себя любовником, к которому приревновал Отелло (и, если хочешь, Шекспир, мы будем драться на шпагах за этот кусок ненаписанного текста). Он захотел бросить к чертям эту скучную математику, отчислиться перед самой защитой диплома, явиться к ней, божественной, освещённой миллионами лун, чтобы протанцевать до скончания дней перед по-

следним рассветом.

Виктория (единственная) целовала его мурашки и шептала обжигающие слова о той любви, что якобы существует. И любовь действительно существовала, но только в пределах её гибкого тела, утомлённого взгляда и блестящих нарядов под вечерним дождем. Но любовь умерла в двухкомнатной квартире, насквозь пропахшей запахом вчерашнего борща.

– Вот твоя будущая жена, мой будущий мэр, – отец поцеловал сына в макушку и подтолкнул к решительно настроенной Юлечке. А Виктория? Виктория рассеялась в тумане недостижимого «завтра», оставив после себя лёгкий шлейф скорби и тоски.

– Вика?

На пороге стоял недовольный мужчина в наспех накинутой рубашке.

– Вы, что ли, будущий мэр? – догадался он и как будто сразу же застыдил своего неподобающего вида. – Вы знакомы с моей женой?

– Женой? – удивлённо захлопал короткими ресницами Владимир. А чего он хотел? Прошло уже почти десять лет с тех пор, как они виделись в последний раз.

– О, это ты, Володь? – Виктория сладко потянулась, лямки сорочки медленно сползли с танцующих плеч.

– Слышала про тебя, поздравляю, – и даже как-то по-доброму улыбнулась. – Можешь не сомневаться, мы с мужем проголосуем за тебя.

Тихо. Темно. Душно. Будущий мэ́р устало опустился на скамейку; в желудке заурчало, но был ли этот приступ голода только физическим ощущением?

Юля. Юлия. Юлечка. Вот бы сейчас вчерашний борщ.

Он медленно побрёл через сумерки к дому в надежде, что там его ждут и примут; и так тяжело было возвращаться по проторённой тропе, но это единственный выход. Наверное, Владимир беззвучно рыдал, но едва ли он мог в этом признаться даже самому себе.

– На улице дождь? – спросила угрюмая Юля.

– На улице дождь... Видишь, промокли только ресницы.

Он снова сел на привычное место около двери и ждал, пока наполнится до краёв его глубокая, как дыра, тарелка.

– Ты пил? Ты понимаешь, что люди не станут голосовать за алкоголика? – Юля нервно задёрнула плечами.

– О, дорогая, ты ошибаешься! Все мои бывшие друзья за меня проголосуют, – Владимир Иванович принялся засовывать в себя огромную шершавую котлету из пластилинового мяса. «Кроме брата», – добавил он про себя без всякого сожаления.

Ошибка

В такие вечера доктору Н. ничто не мешало предаваться лёгкой грусти и непритязательным размышлениям о насущном (не сущем). Он медленно пил неразбавленный виски и лениво наблюдал за тем, как по ту сторону стекла спускались с голубых вершин прозрачные слезинки и тихо-тихо, как бы немного робко, стучались в окно.

Доктор Н., прикрыв глаза, с улыбкой постукивал звонкими пальцами по ледяному бокалу. Его рукам – большим, коричневым, слегка шершавым – следовало бы поставить памятник. Они спасли жизни тысячей людей, покорно сомкнувших уста под скальпелем последних надежд.

Доктор Н. самодовольно рассмеялся: все называли его хиргургом от Бога, и за двадцать девять лет врачебной практики он ни разу не совершил ни одной ошибки. Его называли Воскресителем из мертвых, Иисусом, а он скромно принимал заслуженные комплименты и продолжал творить.

В такие одинокие вечера хирург, обычно, напивался до потери сознания; в такие тяжёлые ночи ему не снились сны. Виски и дождь за окном в ту пору, когда ты сам в безопасном кресле под тёплым пледом, – единственное, что он любил, кроме работы и сына.

Каждая операция была борьбой жизни и смерти, а поле

битвы – сердца людей с отключённым сознанием. Это подобно пяти стихиям, в воссоединении порождающим шестую; когда ветер срывает беспомощные листья деревьев в отместку за то, что не может добраться до созвездий, холодное лезвие уверенно касается чужой плоти.

Поговаривали, что Доктор Н. становился страшен, когда принимался сражаться с Вселенной за ещё одну жизнь. Его суженные зрачки и белые бескровные губы приводили случайного наблюдателя в ужас, поэтому с ним не очень-то любили работать. Очередной ассистент, дрожа за шагреновый кусок своей несчастной жизни, отчаянно молил Бога (даже если не верил), чтобы адские танцы этого сатаны с окровавленным скальпелем наконец-то закончились, и требовал титры.

Доктор прислушался к ровному дыханию спящей жены. Сейчас она была похожа на улыбчивого младенца и обнимала подушку, точно её мог кто-нибудь отобрать. Хирург осторожно провёл по мягким каштановым волосам, боясь потревожить спокойный сон жены. Доктор нанизал на пальцы непослушные кудряшки и задумался: а была ли это любовь?

– Если операция будет удачной, она выйдет за вас... – простодушно предложила (констатировала) мать, такая же кудрявая и по-детски наивная. Шансов почти не было, но хирург не верил в возможность промаха. Какие духи ему помогают?

Он медленно наполнял бокал – себе виски, пациентке –

красное вино, но та состроила недовольную гримасу и потребовала то же.

– Не слишком ли крепко? – насмешливо спрашивал хирург.

– Отнюдь, – уверяла Анна.

Они подставляли прозрачные ладони под свет круглой луны, потому что так можно было получить дополнительные силы и мудрость.

– И, если ты в это не веришь, тогда я подам на развод, – угрожала хорошенькая Аня, рождённая быть канатоходцем, коллекционирующим чужие тени.

– А что, если и я всего лишь тень? – она расстегивала пуговицы на рукавах его теплой рубашки, – а, что если и ты? И все мы не люди, а только тени?

– Тогда кто же настоящий? – подыгрывал молодой жене доктор Н.

– Да-да, кто же настоящий? Налей мне немного виски.

Так, постепенно, она начала спиваться, обворовывая его маленький кухонный бар. В свои двадцать восемь Анна выглядела почти на сорок, а фиолетовые пятна под печальными глазами выдавали частые бессонные ночи. Она была свободной писательницей, но в последнее время всё чаще повторялась и путалась. Её перестали издавать, и она молча упрекала своего гениального мужа, вернувшего жизнь, но забравшего нечто большее.

– Дорогая, может быть, алкоголь не выход? – прошептал

доктор Н., глядя её мягкую спину.

– Разве не ты сам первым ответил на этот вопрос? – она устало перевернулась на другой бок и ещё сильнее прижала к себе подушку; муж больше не мог с ней воевать.

«И я то и дело слышу: какая же ты счастливая, Анька! У тебя гениальный муж, знаешь, сколько женщин грызет локти от зависти, мечтая о том же для себя? Не знаю, и знать не хочу. Видно, я не из тех сумасшедших, которые только и делают, что заботятся о своей репутации. Моё замужество было ошибкой; о, лучше бы я умерла тогда», – читал он в её дневнике. В такие минуты хотелось уйти в бордель, чтобы на несколько часов забыть об этом бесполезном пьяном теле на мятой простыне. Но Аня родила ему сына, и поэтому приходилось терпеть её выходки женщины.

– Папа, если я стану хирургом, то смогу затмить тебя?

Шапка кудрей от мамы, немного узкие синие глаза от папы и непоколебимая самоуверенность. Он умел ходить по горячим следам уходящего на покой солнца и заплетать косички из свежих капель на макушках звезд. На четырехколёсном велосипеде курносый мальчишка объездил добрую половину планеты, чтобы лучше понимать опрометчивых людей. В рюкзаке у него было большое будущее, в карманах джинсовых брюк – необузданная жажда жизни. Мало кто мог не позавидовать этому амбициозному пареньку с медицинского факультета.

– Мама, если всю жизнь спасать других людей, тебя возь-

мут в рай?

– Не верь тем олухам, которые всё это придумали, – раздражённо бросала Анна, – Есть только луна, и когда ты умрешь, то, может быть, окажешься внутри. Впрочем, ты обязательно окажешься, ведь луна любит сильных.

Доктор Н. громко смеялся, слушая объяснения этой отчаянной язычницы, и думал: «Для какой цели Бог позволил мне сохранить ей жизнь?»

– Для меня, папа, – улыбался любимый сын.

Отец с недоумением качал головой: «Он подслушивает мои мысли?»

– Для меня, папа... Весь мир для меня, мне иногда кажется...

– Что за ерунду ты говоришь? Эгоистично так рассуждать, сынок!

– У меня обязательно получится затмить тебя, папа. Я сделаю научное открытие, чтобы люди смогли стать счастливыми. И когда я умру, луна обязательно впустит меня к себе погреть озябшие ноги.

Доктор Н. лёг рядом с женой и накрылся одеялом с головой, сбегая от бессмертных детских страхов. Почти полчетвёртого, и новый день уже наступил... Что ожидать от очередного «сегодня?» Если бы каждый из нас мог это знать!.. Но разве знание могло бы спасти от этого полчища крыс-ошибок, жадно надкусывающих твёрдую плоть? Нет, никогда и ничто не может спасти и защитить человека; всегда есть со-

противление, которое последний оказывает в самый неблагоприятный момент. И где бродит эта комическая аферистка-интуиция?

Доктор Н. медленно погружался в долгий томительный сон без снов, а где-то там, за окном, продолжал стучать бездарный барабанщик-дождь, слышались глупые песни засидевшихся подростков, светила обманщица-луна, манившая к себе, в себя, якобы погреть ноги...

Тусклый свет.

Ядовитое одиночество.

Слабое дыхание умирающего.

Острый скальпель беспомощно сверкает в слабой руке.

Пожалуйста, не умирай. Я сделаю всё, что в моих силах.

Аня в слезах, под крепким алкоголем. Дурак, бездарь, тварь! Сейчас же позови другого врача, я требую! Это наш сын!

Нервная самонадеянность и дрожащие руки. Вот потому-то я и должен сделать это сам. В больнице нет хирурга опытнее меня.

Аня обрывает телефонные провода. Ты не сможешь, ты не сможешь! Как же ты не понимаешь? Ты не можешь резать собственного сына!

Испуганные ассистенты с бескровными лицами. Доктор, вам нужно отдохнуть. Хирург Рувимов сделает операцию вашему сыну. А вы...

Доктор Н. вне себя топчет разгневанными ногами. Ухо-

дите! Оставьте меня одного! Я справлюсь! Это мой сын, и я не имею права на ошибку. Ваш Рувимов – жалкий дилетант!

Окровавленное тело. Слабое сердце. Авария. Никто не застрахован.

Доктор Н. чувствует приступ головокружительной тошноты. Силится разобрать знакомые черты, но видит только застывшую равнодушную гримасу. И он сейчас тоже должен стать таким же равнодушным; отстраниться, представить, будто это не сын вовсе...

Но это сын, сын, сын, и он истекает кровью, и его жизнь медленно, по капелькам, покидает изувеченное тело; доктор поднимает скальпель; нужно верить в чудо, ведь он никогда прежде не делал ошибок, верно? Но ведь никогда прежде перед ним на больничной койке не лежал родной сын. И как можно его спасти, если не смеешь даже поднять глаз? Может быть, правда, позвать Рувимова? Признать свою слабость, отступить, запереться в кабинете и отчаянно молиться луне, чтобы пока ещё не забирала? Нет, определенно, нет, Рувимов никуда не годится, ни в коем случае нельзя доверять жизнь собственного сына этому горе-хирургу. Надо действовать. Нужно просто не думать о возможном промахе. И почему именно сейчас должна произойти эта треклятая ошибка?

Аня сняла голубой халат и, обнажённая, забралась на подоконник, чтобы прощупать дорогу на луну. Хитрая и самодовольная, луна гордо скользила по небу, как по льду, и дер-

жалась так, как будто нет никого могущественнее. Дверцы маленького жёлтого гробика распахнулись, и бледная Анна пронзительно закричала, потому что луна досказала всё; и не было смысла звонить в больницу и спрашивать, больше вообще не было смысла. Как хищная рыба, луна поплыла вслед за очередным прохожим, коварно подмигивая, отмеряя срок...

Доктор Н. тесно прижался к холодной стене. Он почти задышался от резкого приторного запаха крови и не мог сдвинуться с места. «Врач от Бога, – одними губами бормотал он. – Никогда не совершает ошибок...»

IN MEMORIAM

Меня разбудили крики бесноватых чаек. В такие минуты кажется, что эти с виду невинные существа давно породнились с Дьяволом. Я приподнялась и взглянула на часы. Полшестого утра, а мне никуда не нужно торопиться. Всё же я нехотя встала с кровати и, стуча босыми ногами по холодному полу, распахнула окно.

Хитроумный ветер-путешественник шелестел нежно-зелёными листьями, точно переворачивал страницы утренней газеты. Он пытался прочесть отдельные строки, но слова рассеивались, как дым последней сигары задумчивого философа. Мысли вырывались из-под опеки навязчивого разума, уступая место мечтам...

Я завариваю кофе и забираюсь на подоконник. Неугомонные чайки осыпают жителей города проклятиями, ругая за несовершенство, трусость и праздность. Если бы мы захотели, то смогли бы подняться выше и попробовать облака на вкус. Какой он? Приторно-сладкий? Или, наоборот, что-то похожее на горький шоколад?

Бог знает, сколько времени я наблюдаю за новорождённым утром, прислонившись щекой к стеклу. Вот уже небо становится светло-голубым, как ситцевое платье фарфоровой куколки, которая с завистью следит за каждым неволь-

ным жестом хозяйки.

В здании офиса, прямо напротив моего дома, зажигается робкий свет. Быть может, это навсегда, и тьма наконец-то разорвана на куски, как стоглавое чудовище из бабушкиной сказки. Ночь не наступит, а луна не примется щекотать простуженные звёзды... Но нет, иллюзия распадётся, подобно башенке из детских кубиков, когда придёт вечер.

Мне не хочется видеть угрюмые фигуры офисных работников, и я мечтаю отключить звуки проноссящихся автомобилей. Ставлю кружку с недопитым капучино на стол и закрываю глаза. Представляю себя на берегу в объятиях ласкового южного солнца. Сажусь на корточки, касаюсь ладонью моря: игривые волны, смеясь, накатываются друг на друга, заговорщицки подмигивают и о чём-то шепчутся. Наверное, готовятся вступить в неравный поединок с ветром, но он едва ли уступит – слишком горделив, чтобы так легко сдаться. Вдыхаю ментоловый запах свежести и вслушиваюсь в тихую, немного сбивчивую мелодию прибоя. Хочется подпевать, выдумывая собственные слова, и отдаться во власть стихии, как будто сегодня – последний день, а «завтра» – всего лишь слово.

Там, под опрокинутым небом, я снова становлюсь собой, принимая истинное обличье. Бледная девушка с русыми волосами и огромным рыбьим хвостом. Прячусь под водой от тревожных взглядов наблюдателей, но продолжаю петь...

Всё закончится, когда я открою глаза и увижу перед со-

бой те же деревья, чьи ветви напоминают качели, капризные облака, упрямо ищущие свой путь, мрачное здание офиса... Услышу, как кричат, тоскуя по родине, чайки, а шумные автомобили соревнуются с ветром в скорости и мчатся в пустыню забвения.

Ничего не поделаешь – нужно одеваться и начинать жить. Люди считают истории о русалках выдумками, и, пока я здесь, мне придётся притворяться человеком.

Правда, в реальной жизни я совсем не похожа на русалку: растрёпанные волосы до плеч, вечные синяки под глазами, нос картошкой и рыжие веснушки на щеках. В общем, красавицей меня не назовёшь, и мне всегда было интересно, почему моя привередливая душа выбрала настолько несовершенное тело.

Я спрыгнула с подоконника и принялась собираться на улицу. Раз уж у меня сегодня незапланированный выходной, можно немного прогуляться. Я работаю в издательстве и занимаюсь корректурой книг. Мой безграмотный автор вчера попал в больницу, поэтому нашу встречу пришлось отложить на неопределённый срок. Директор разрешил мне немного отдохнуть и набраться сил перед тяжёлой работой над непростым проектом.

Я открыла шкаф, чтобы выбрать подходящую одежду. Июнь должен быть жарким или хотя бы тёплым, но погода в наших краях слишком непредсказуемая. Безжалостный ветер готов сорвать с неба раскалённый солнечный шар,

а отшельник-дождь неожиданно врывается к нам, словно незванный гость, чтобы затянуть безрадостную старую песню. Впрочем, и у некоторых людей тоже весьма противоречивый характер. Иной раз представить себе не можешь, что выкинет твой приятель в следующую минуту. Чего же тогда требовать от природы? Она вообще не обязана подчиняться какому-либо правилам.

В конце концов я остановилась на старом фиолетовом свитере и отправилась в ближайший продуктовый магазин. У единственной работающей кассы собралось немало народу. Мужчина в клетчатом костюме потребовал позвать ещё одного кассира, на что полная женщина с усиками над верхней губой грубо ответила:

– Если хотите – сами работайте! А у нас и так продавцов не хватает!

Передо мной стоял сухонький старичок с зонтом-тростью. Он тщетно пытался разглядеть срок годности на бутылке молока.

– Всё в порядке, вчера изготовлено, – решила помочь я. Он сразу обернулся, неопределённо покачал головой, пожевал белые усы и, наконец, расплылся в благодарной улыбке:

– Спасибо, милая. Совсем глаза плохи стали... Раньше столько читал и писал, а теперь, – он обречённо махнул рукой. – Видно, со старостью бесполезно играть в прятки. Она всё равно однажды отберёт у тебя силы и здоровье...

Мы разговорились. Оказалось, что дедушка живёт со-

всем один, в хрущёвке через дорогу. У него есть красавица-дочь, которая проводит психологические консультации в собственном кабинете. Внучка учится в финансовой академии на экономиста, а внук – профессиональный фотограф. Все очень умные, добрые, чудесные-расчудесные, вот только о дедушке вспоминают пару раз в год, когда им нужны деньги на отдых или крупные покупки. Своих средств вечно не хватает, а у деда всегда есть сбережения – получил большое наследство после смерти брата несколько лет назад.

– Но ведь это же неправильно! – не вытерпела я, от возмущения сжав кулаки.

– А кто мы такие, чтобы судить, что правильно, а что нет? – лицо дедушки внезапно приобрело строгое выражение. – Мы с тобой не боги. Никто не Бог... Единственное, что в наших силах – оставаться достойным человеком. Вот, собственно, и всё.

У дедушки оказался такой огромный пакет с продуктами, что я решила проводить его до дома. К тому же мне хотелось подольше с ним пообщаться – не каждый день сталкиваешься лицом к лицу с настоящим мудрецом. Когда мы дошли до подъезда, на моего спутника налетел белокурый вихрастый мальчишка с огромным фингалом под глазом.

– Дедушка Тимофей, дедушка Тимофей! Я так соскучился!

– Привет, Андрейка! Что это у тебя такое с лицом? Подрался, что ли? – старик присел на скамейку и усадил неуго-

монного парнишку себе на колени.

– Я победил в неравном бою! – важно провозгласил сорванец.

– Здравствуйте, Тимофей Сергеевич, – красивая женщина в длинной юбке широко улыбнулась, обнажив ровный ряд белоснежных зубов. Она переплетала косу, едва управляясь с густыми длинными прядями. – Я совсем с ним намучилась! Представляете, только вчера домой приехали, а он уже умудрился подраться с соседским мальчишкой!

– Ну мам, он первый начал! – Андрей насупился – он явно ожидал похвалы за такой смелый поступок. – Я защищал свою честь, как ты не можешь это понять? – мальчишка с надеждой взглянул на Тимофея Сергеевича.

– Доброе утро, Евгения Николавна. Вы знаете, все мальчишки дерутся. И я был в точности таким же, – он подмигнул Андрею, и тот звонко рассмеялся, прижавшись к груди деда щекой.

– А девочек тоже все оскорбляют? – Евгения Николаевна тяжело вздохнула. – Представляете, он назвал дочку моей подруги душой!

– Вообще-то, так и есть. Она меня старше, но читает по слогам и не знает таблицу умножения, – парировал Андрей. Он сорвал ромашку и принялся нервно покусывать стебель.

– Тимофей Сергеевич, а приходите к нам сегодня в гости! Я пирог ваш любимый испеку... И Андрейка скучает по вашим сказкам. Хочет услышать продолжение про русалочку.

Тут я невольно вздрогнула: что это, как не предопределённая встреча?

– И вы приходите, – Евгения Николаевна взяла меня за руки, – дедушка такие интересные сказки сочиняет! Кстати, как вас зовут? Вы, наверное, внучка?

Я отрицательно покачала головой.

– Вовсе нет, мы только что познакомились! А зовут меня Василиса, – я пожала руку молодой матери, – а вы, значит, настоящий писатель? – повернувшись к дедушке, поинтересовалась я. Он с невозмутимым видом жевал ромашку, неосознанно повторяя за Андреем, и напоминал теперь большого ребёнка.

– Любитель, – отмахнулся дедушка Тимофей. – Просто я обожаю сказки.

– А я обожаю русалок! Расскажите всё с самого начала?

Признаться честно, я чувствовала себя счастливой просто так, без повода, и была благодарна судьбе за такую удивительную встречу.

Дом Евгении Николаевны показался мне райским уголком, обласканным солнцем. Именно здесь и только здесь я согласилась бы провести остаток неуловимой вечности. Но человек нигде не может задержаться дольше, чем нужно. Всему отмерян свой срок, а если попытаешься продлить –

едва ли что-нибудь выйдет. Приходится жить так, словно ты ветер и гостишь в чертогах чужой памяти, пока не настало время уходить. Ветер-проказник, ветер-безумец, ветер-хитрец... Тщетно ищет пристанища, чтобы остаться на ночлег. Но его прогоняют, всегда и отовсюду прогоняют, как будто он не заслуживает покоя.

Из кухни доносился запах свежееиспечённого яблочного пирога – так пахнет первая любовь, так пахнут самые безмятежные грёзы, счастливое детство и... навсегда утраченное время. Я перевела взгляд на дедушку Тимофея – он стоял у двери, облокотившись на зонт-трость, и насвистывал мелодию из старого фильма. Евгения Николаевна вышла к нам навстречу в голубом фартуке и с прихватками в руках. Обворожительно улыбнувшись, она пригласила нас в комнату для гостей. Над светло-коричневым кожаным диваном висели многочисленные картины, образуя причудливый узор. Повидимому, хозяйка потратила немало времени, чтобы расположить их в шахматном порядке. Андрей с гордо поднятой головой рассказал мне, что все эти пейзажи написала его мама. Евгения Николаевна смущённо улынулась и одёрнула довольного сына:

– Не делай так больше! Твоя мама вовсе не художница, – она бросила на меня немного виноватый взгляд. – Не поймите неправильно. Я не выставляю их напоказ. Это мужу нравится...

– Вы прекрасно рисуете, – заметила я. Мне действитель-

но пришлось по душе эти картины. Их можно перепутать с фотографиями – с таким удивительным мастерством были проработаны даже мельчайшие детали!

– Просто вдохновляюсь природой, – поделилась Евгения Николаевна. – Нам часто приходится колесить по стране. Мой муж – военный, – она опустила глаза, сцепила пальцы в замок и понизила голос до шёпота:

– А так хочется где-нибудь остаться...

В распахнутое настежь окно, словно выжидая подходящего момента, ворвался капризный ветер. Он с надменным видом огляделся, точно это мы зашли к нему в гости, не спросив разрешения, и юркой кошкой вскочил на заваленный книгами стол. Ветер-бродяга, ветер-отшельник, ветер-изгнанник... Какие невысказанные слова прячет он в шелесте книжных страниц? Что, если это вовсе не шелест, а шёпот? Но мы не слышим, никогда ничего не слышим, сознательно замыкаем слух, а ветер продолжает хранить истину, которую никто не желает знать.

– Тогда был такой же ветер... – дедушка опустился на диван и положил зонт на колени. – Такой же безжалостный ветер... – его глаза блеснули, и я поняла: история уже началась. – Заплаканная девушка в чёрном пальто с угрюмым вороном на плече стояла на краю обрыва и готовилась прыгнуть. Ветер шипел, вгрызаясь в ледяную кожу ночного моря.

Страница видела, как плещутся в чёрной воде невинные звёзды. Казалось, она даже могла разглядеть их юные счастли-

ливые лица. Звёзды качались на волнах, точно беззаботные дети, но море выталкивало проказниц, и они, обиженно поджимая губы, возвращались на небо. В детстве и ей самой хотелось хотя бы на пару мгновений взобраться наверх, чтобы сиять для других. Девушка верила, что для кого-то её свет может стать путеводным. И она всегда с замиранием сердца ждала наступления лета, потому что это время чудес и исполнения желаний. Всё невозможное вдруг становилось возможным, когда в её маленький дом стучался краснощёкий мальчишка-июнь.

*Рыжий кусок раскалённого солнца
Падает с неба в карман,
Хитрый июнь воду пьёт из колодца
Кровь приливает к вискам.*

*Новый рассвет наступает на пальцы,
Рвётся от боли струна,
Мы начинаем безумные танцы,
Лето нас сводит с ума.*

Девушка поморщилась от внезапной боли, которая, подобно хищному зверю, вгрызалась зубами в её хрупкую шею и подталкивала к прыжку. Прошло столько времени, с тех пор как она написала то стихотворение... Даже представить себе не могла, что однажды в июне солнце не упадёт к ней в

карман, новый рассвет не наступит, а безумные танцы больше никогда не начнутся.

– Прощай, Эдгар, – шепнула она чёрному ворону, который смиренно сидел на её плече и тянулся к пристыженному месяцу огромным толстым клювом.

Страница даже не сомневалась в том, что действительно хочет сделать следующий шаг, зачеркнуть уродливую запятую и поставить решительную точку в сценарии своей несправедливой судьбы. Она зажмурилась: прямо сейчас всё закончится, а ей ни капельки не жаль. Жизнь выталкивает её, как море – звёзды, отказываясь дать приют. Девушка подошла к самому краю обрыва и бросилась в воду.

Она не потеряла сознание и барахталась в море, как беспомощный щенок, захлёбываясь пеной растоптанных надежд. Прекрасно знала, что не сможет спастись: с ранних лет боялась воды, поэтому так и не научилась плавать. Но вот кто-то крепко обхватил её безвольное тело и потянул ко дну.

«Наверное, это и есть смерть...» – пронеслась в голове вялая мысль.

«Пока ещё нет», – раздался рядом чей-то самоуверенный голос.

Обнажённая незнакомка с длинными русыми волосами и пытливым взглядом держала девушку за запястья и, казалось, танцевала под водой. Её сверкающий в лунном свете рыбий хвост рассекал волны, словно острый боевой меч в руках храброго рыцаря.

«Не может быть... Это же...» – странница не успела закончить мысль.

«Да, я русалка. И мы действительно существуем», – проворчала незнакомка, которая, по всей видимости, уже устала объяснять утопленницам одно и то же. Она не открывала рот, когда говорила с потрясённой собеседницей, а сразу же передавала ей свои мысли.

«Если ты хочешь меня спасти, то не надо. Я уже всё решила», – девушка попыталась высвободиться из крепких объятий, но у неё ничего не получилось.

«Дурочка... Зачем мне тебя спасать? Я хочу спасти себя... Понимаешь? Спасти саму себя! Слушай меня внимательно, повторять я не собираюсь...»

В эту беспокойную ночь, освещённую лишь тусклым светом скушающего месяца, под усыпанным веснушками небом, произошло неслыханное событие. Русалка и человек поменялись местами, попросив у нахмуренного Бога ещё одну жизнь взаимы.

Тем временем в книжном магазине на окраине города продавец-консультант Фёдор Савельев распаковывал и расставлял по полкам свеженапечатанные томики Ницше, Шопенгауэра, Гегеля и других именитых философов. Спина болела от неустанного труда, а голова гудела, как сломанный радиоприёмник. Мысли путались, сталкивая друг друга с орбит ума, но юноша смиренно продолжал работу, не обращая внимания на лёгкое головокружение.

Он не позволял себе отдыхать, не желая тратить драгоценные минуты на бесполезные перерывы. Впрочем, Фёдор всё равно не собирался задерживаться в этом маленьком аду: только три месяца, всего-навсего одно лето – не дольше. Блуждать среди книг, разглядывая новенькие корешки, вдыхать терпкий сладковатый запах типографской краски, проводить рукой по хрустящим страницам, дрожать от застенчивости после желанного соприкосновения... Что может быть волшебнее этого? Да, Фёдор уже давно обвенчан с литературой, и этот таинственный союз скреплён священной клятвой, которую можно нарушить только ценой собственной жизни. Но он рождён не для книжного магазина. Нет... Он хочет ловить случайные идеи сачком воображения, как ловят редкие виды бабочек. Переплавливать в буквы, смущённые своим нечаянным бытием. Обнимать слова, взятые напрокат у вечности. Наполнять собой весь этот выдуманный мир: собственными мыслями, чувствами, действиями... Юноша прикрыл глаза, подчинившись обаянию давней мечты. Он обязательно станет писателем – настоящим чудотворцем, способным из любой недоброй тяжести¹¹ создать целую Вселенную.

– Извините, у вас есть книги о русалках?

Голос, похожий на музыку Равеля. Или на полёт мотылька. Вверх-вниз-вниз-вверх... Девушка в мокрой одежде, босая, с влажными спутанными волосами и болезненно-бледным лицом. Это либо сумасшедшая, либо муза.

– Вы, наверное, имеете в виду сказку Андерсена? – вежливо спросил Фёдор.

Незнакомка поморщилась, словно силилась что-то вспомнить, но никак не могла ни на чём сосредоточиться. Бессвязный шёпот волн всё ещё раздавался в её ушах, играл, как одинокий музыкант, только что смахнувший с фортепианных клавиш толстый слой пыли. Раз-два-раз... Сбивается. Может быть, разучился? Девушка пожала плечами. Она не поняла, о каком-таком Амундсене спрашивает этот странный человек.

Сейчас с ней происходило что-то совершенно особенное. Там, под водой, она чувствовала себя наполненной, а теперь... Будто бы перевернули и опустошили. И что ей с этим делать? Как выбраться из паутины забвения и собрать из осколков чужих воспоминаний зеркало памяти? Так, чтобы никто не заметил на нём трещины и царапины? Так, чтобы никто не узнал, что оно было разбито?

– Вы дрожите... Наверное, больны... Да что с вами? Вы ничего не помните? Как вас зовут? – Фёдор вовремя подхватил девушку, которая чуть было не рухнула на пол. Она бросила взгляд на первую попавшуюся книгу. И где только научилась читать? Наверное, вместе с телом ей передались и другие умения девы-утопленницы. Та была права, когда предупреждала её, что быть человеком непросто. Но отступить нельзя – второго шанса может и не выпасть. Она облизала пересохшие губы.

– Новелла. Меня зовут Новелла.

Вы так внимательно слушаете! Наверное, ждёте не дождё-тесь счастливой развязки. Думаете, что Фёдор женится на Новелле и у них родится много-много славных детей. А потом я закончу эту историю, как и подобает уважающему себя сказочнику: «И стали они жить-поживать да добра наживать». Но нет, Андрей уже сердится на меня и, конечно, думает: «Какой глупый старик!» Я знаю, мой милый, ты не любишь хэппи-энды. Ты хотел, чтобы я ничего не выдумывал и рассказывал всё как есть.

Что ж, Фёдор и Новелла действительно полюбили друг друга, и я совсем ничего не могу с этим поделать. Если пишешь историю, будь готов, что однажды твои герои махнут на тебя рукой и начнут жить так, как им нравится... Никто из них не захочет подчиняться замыслу бестолкового автора. Вот и Новелла вышла замуж за Фёдора, хотя я со слезами на глазах молил её этого не делать, зная, какую цену придётся заплатить за мгновение счастья.

Надо сказать, что мечта Фёдора осуществилась: он стал настоящим писателем, и теперь его книги украшали полки того самого магазина, где ему некогда довелось работать продавцом-консультантом. Разве он мог тогда представить себе, что его жизнь так изменится, и счастье, то самое счастье, которое прежде казалось мифическим, станет реальным – осязаемым и вполне осязаемым?

Новелла, жена молодого прозаика, совсем забыла о русалочьей жизни и время от времени даже задавалась закономерным вопросом: может быть, всё это ей только приснилось? Да, её по-прежнему манил таинственный шёпот волн, и она любила наблюдать за морем, когда лучи золотого солнца щекотали его гибкое тело и застенчиво посмеивались над собственной шуткой. Но теперь едва ли кто-нибудь мог узнать в этой жизнерадостной красавице ту несчастную девушку, которая бросилась с обрыва в море. Новелла радовалась каждой минуте своей драгоценной жизни и благодарила Бога за такой удивительный дар.

Совсем недавно у неё родился сын – вихрастый румяный мальчишка, любопытный и не по годам смывлённый. Больше всего на свете он любил разглядывать картины, написанные его талантливой мамой. Новелла обожала живопись: ей казалось, что благодаря творчеству наш несовершенный мир становится похожим на рай. Девушка улыбалась утончённым ценителям искусства, которые собирались на выставке её картин, но отводила взгляд всякий раз, когда ей задавали один и тот же вопрос:

– А почему вы пишете именно море? Наверное, продолжаете традиции Айвазовского?

Легче согласиться, чем сказать правду, в которую всё равно никто не поверит.

Однажды ночью ветер шипел, как змея, отравленная собственным ядом, и вгрызлся в ледяную кожу беспокойного

моря. Дверь тревожно скрипнула, словно пыталась о чём-то предупредить, но девушка всё равно выскользнула наружу, забыв накинуть пальто.

Новелла услышала чьё-то пение, и оно так сильно её взволновало, что она пошла на звук, как иной путник идёт на свет маяка, не осознавая истинной цели, но в твёрдой уверенности, что иначе нельзя. Босые ноги уже касались холодных чёрных волн, песня становилась всё слышнее, всё громче, и девушка не находила в себе сил сопротивляться опасному притяжению.

«Ну здравствуй», – раздался в голове чей-то насмешливый голос. Пение прекратилось. Новелла побледнела и попятилась. Море уносило её всё дальше от берега, и она ничего не могла с этим сделать.

«Что тебе от меня нужно? Разве мы с тобой не договорились? Ты получила то, что хотела, и я...»

«То, что хотела? Я лишь хотела умереть, а ты превратила меня в русалку. Знаешь, как это больно – желать покоя и забвения, но оставаться бессмертной?»

«Но ведь ты согласилась... тогда... Прошу, оставь меня. Не мешай мне быть счастливой».

«Счастливой? В моём теле?» – русалка звонко расхохоталась и, обхватив шею соперницы, потащила её к самому дну.

«Ты не смеешь... Не смеешь быть счастливой, когда я так страдаю!»

На следующий день в газетах писали о таинственном ис-

чезновении художницы-маринистки Новеллы Савельевой. Её тело так и не нашли, словно морская пучина поглотила его, вернув себе то, что считала личной собственностью. Фёдор, узнав о гибели жены, как будто не удивился и долгое время молчал, точно разом утратил все слова, которыми виртуозно владел пару фрагментов вечности назад. Вот только к вечеру его нашли без сознания на берегу моря. Несчастный писатель потерял рассудок. Он никого не узнавал и беззвучно плакал, воздевая руки к небесам.

Прошло несколько лет. Люди забыли о Новелле и Фёдоре, и их история канула в Лету, как и все книги обезумевшего от горя писателя.

Дедушка Тимофей достал из кармана носовой платок и шумно высморкался. Андрей лежал на кровати, уткнувшись в подушку, делая вид, что спит. Я молча глядела в одну точку и никак не могла прийти в себя. И почему только мне казалось, что я уже знала эту историю и, может быть, даже была её героиней? Я покачала головой, чтобы избавиться от навязчивости.

Да, я верю в кармические связи, прошлые жизни и реинкарнации. Думаю, что почти все, с кем нам довелось делить очередной век, уже проходили мимо, задевали плечом или наступали на ногу. А может, наоборот, шептали на ухо слова благодарности, целовали в макушку и крепко обнимали... Но неужели нам под силу вспомнить своё прежнее воплощение? Я посмотрела на дедушку Тимофея. Он сидел, откинув-

шись на спинку кресла, и задумчиво пожёвывал белые усы.

– Спасибо за компанию, Василиса. Кажется, нам пора, – он привстал – кресло предательски заскрипело, чуть было не разбудив спящего мальчишку.

– Скажите... пожалуйста... откуда... у вас... эта... история? – мне не хватало воздуха, поэтому я делала паузы перед каждым следующим словом. И что это за странное чувство, будто бы всё предрешиено и нет никакого смысла задавать вопрос, на который и так знаешь ответ?

– Это история моих родителей, – отозвался дедушка Тимофей, глядя в распахнутое окно. – Моя мать утонула. Мой отец сошёл с ума. Перед смертью он написал красивую легенду о своей жене... Представляете, он упрямо называл её русалкой! – старик перевёл взгляд на Евгению Николаевну, задремавшую с пряжей в руках, и тихо рассмеялся.

За окном кричали бесноватые чайки. В такие минуты мне действительно кажется, что эти с виду невинные существа давно породнились с Дьяволом. Я поднялась с кресла и взглянула на часы.

Но смерть сильнее...

Уже смеркалось, когда я вышел из редакции газеты «Хронос». Порывистый ветер щедро раздавал прохожим пощёчины; я подставлял ему бледное лицо, зажимивался и думал о своей странной, нескладной жизни. Даже не знаю, где я свернул не туда и как меня занесло в журналистику. Дело в том, что я просто не мог представить себя в другом месте. Разве что за письменным столом у распахнутого настежь окна. Ложка, сжатая несмелыми пальцами, размешивает сахар, в ноздри врывается резкий запах чёрного кофе, а в голове кружатся, подобно мотылькам, беспорядочные мысли – летят на свет, чтобы обрести словесную плоть. Да, я не могу обходиться без слов, но мои посредственные рассказы едва ли когда-нибудь сделаются достоянием публики. Вот почему я пописываю глупые статейки для одной жёлтой газетёнки, тщетно пытаюсь доказать редактору свою исполнительность. Прямо сейчас я хожу по краю пропасти: меня вот-вот уволят. Единственное, что ещё может спасти несчастного корреспондента – сенсационное интервью с поэтом Алексеем Истоминим.

Признаться честно, меня всегда интересовала эта неординарная личность. Романтическая лирика, которую он писал, никак не соотносилась с разгульным образом жизни, ко-

торый он вёл. В общем, Истомин волей судьбы часто оказывался в центре крупных скандалов. О нём говорили многое: вырос в неблагополучной семье, принимал наркотики, совращал невинных девушек и будто бы однажды убил человека. Алексей ничего не отрицал, только загадочно улыбался, неопределённо качал головой и уходил, отказываясь давать какие-либо комментарии. Мой редактор почему-то возомнил, что я мог бы втереться в доверие к развязному поэту и выведать у него самые сокровенные тайны. К тому же мне как раз представилась уникальная возможность встретиться с Истоминим в непринуждённой обстановке. Как оказалось, он приходился двоюродным братом мужу моей подруги детства – Ольге Савельевой.

С Ольгой связана отдельная история: я любил её и люблю до сих пор, но она вышла замуж за богатого мужчину, намного старше её. Я был вынужден уступить, потому что не мог ничего предложить моей возлюбленной. Со мной она была бы несчастна. Иногда приходится отказываться от самого дорогого, потому что ты не имеешь права вмешиваться в чужую судьбу.

Завтра я пойду знакомиться с мужем моей любимой и завтра же встречу с Истоминим. Действительно ли он такой, как пишут СМИ? Тогда почему в его стихотворениях звучит испепеляющая тоска, и боль пронзает каждую строчку острым клинком кинжала безнадёжности? Едва ли развратник и наркоман может создавать такие нежные поэтические ис-

тории.

В доме Ольги меня приняли на удивление тепло: по всей видимости, я действительно был здесь желанным гостем. Муж моей дорогой подруги пожал мне руку и признался, что успел полюбить меня как родного брата. Ольга многое рассказывала ему, и он был рад, что такой человек, как я, всегда и во всём поддерживал его молодую жену. Когда обмен любезностями закончился, меня представили Истомину. Он сидел в углу, развалившись в кресле, и как будто подрёмывал. Скандально известный поэт оказался уже немолодым мужчиной с потрескавшимися губами и потухшим взглядом. Все его движения были медленными и ленивыми; создавалось впечатление, что он пересиливал себя всякий раз, когда нужно было что-то сказать или сделать. Его длинная рука с тяжёлыми перстнями застыла в воздухе, так и не дотянувшись до моей ладони. Истомин слегка нахмурился, провёл пальцем по небритой щеке и зевнул, широко раскрыв рот, точно для него не существовало никаких правил приличия.

– Здравствуйте, я весьма польщён, что мне довелось... – еле слышно пробормотал я и осёкся, заметив насмешливый взгляд поэта. Он откинул плед, который прикрывал его ноги в потёртых серых джинсах, и достал из кармана вельветовой рубашки курительную трубку.

– Не нужно напыщенных фраз, мой юный друг, – с явным пренебрежением в голосе заговорил Истомин. Тёмные, нависшие сидеть пряди упали на глаза, и он тряхнул головой,

чтобы откинуть волосы, а затем жадно затянулся и продолжил:

– Мой брат сообщил мне, что вы журналист. Что ж, стало быть, вы имеете представление о моём неоднозначном отношении к акулам пера...

Я кивнул, уже почти смирившись с неизбежностью увольнения.

Истомин говорил непривычно медленно, слегка растягивая слова, как будто устал изо дня в день повторять одни и те же фразы. Наблюдая за плавными жестами поэта, я заметил, какими длинными и тонкими были его пальцы. Он рисовал ими в воздухе невидимые фигуры, демонстрируя слушателям аккуратно подпиленные розовые ногти.

– Но вы не похожи на журналиста. Вам не хватает дерзости, – заключил Истомин, выпуская наружу колечки дыма, от которого у меня запершило в горле.

– Я очень люблю ваши стихи, – тихо проговорил я, не зная, как правильно воспринимать его слова – в качестве комплимента или оскорбления.

– О да, мой брат прекрасно пишет! Лёш, может, считаешь что-нибудь? Вон и Оленька хочет послушать...

Истомин не заставил себя просить дважды; он только отложил трубку и прикрыл глаза. Морщины на лбу разгладились, на уголках губ заиграла печальная улыбка, а густые пряди снова упали на глаза и замерли... Сама тишина невольно задержала дыхание, когда Истомин начал читать по

памяти одно из моих самых любимых стихотворений.

*Ночь нежна. И сияние ближе,
что разлито по комнате всей,
озаряются стены, и книжный
шкаф, и твой силуэт в полутьме.*

*Ты стоишь и лелеешь в ладонях
жёлтый щит у ночного окна,
бытие всё твоё благовонно,
и мелодия скрипки слышна¹².*

– Bravo! – хозяин дома заплодировал. Ольга не выдержала и расплакалась, а я разволновался, вскочил с места, нетерпеливо заходил по комнате и, наконец, остановился у комода. В зеркале, за своей спиной, я увидел полуживого поэта. Он сидел в кресле, закинув одну ногу на другую, и до сих пор не открывал глаз.

– Не сочтите за наглость, я спрашиваю вовсе не из профессионального любопытства... Но позвольте же узнать, как вам удаётся писать такие стихи и при этом... при этом... – я задыхался, не находя в себе сил продолжать, а Истомин лишь расхохотался и, приложив указательный палец к кончику носа, сказал:

– Я понимаю, о чём вы. Признаться, вы совершенно правы. Все эти годы я жил в аду. Я недостойн больше видеть лу-

чистые глаза и слышать игру на скрипке... Я... собственными руками захлопнул перед собой двери в рай, где осталась она. Навеки... – он провёл ладонью по лбу и тяжело вздохнул. – Милый юноша, хочешь, я расскажу тебе одну историю?

Она всегда импровизировала, играя на скрипке, и улыбалась так, словно на время превращалась в ласковое солнце, слегка касающееся холодной кожи земли. Девушка с волосами янтарного цвета и морщинками в уголках глаз. Девушка с залиvistым смехом и синими, как тёплое майское утро, глазами. Девушка в изумрудном платье с волшебным смычком в руках.

Вероника Лазурская – дочь главного редактора литературного журнала «Стрела». Он высоко оценил юношеские опыты Истомина и первым заговорил о его необыкновенном потенциале. Именно благодаря Лазурскому двадцатилетний Алексей опубликовал дебютный сборник «Ассоль», который сразу привлёк к себе внимание критиков. Его ругали и превозносили, боготворили и высмеивали... Общество интересовалось новым именем: кто эта юная, внезапно вспыхнувшая на поэтическом небосклоне звезда? Но неожиданный успех и вмиг обрушившаяся слава ничуть не трогали пылкого сердца Алексея; он был намного выше чужих толков и

пересудов. Он писал лишь потому, что не мог иначе, и не стремился угодить извращённым вкусам капризной публики. Единственное, что по-настоящему волновало юношу – это образ девушки, похожей на дивный сон, согревающий утомлённого путника холодной непроглядной ночью.

С Вероникой можно было говорить обо всём: читать стихи нараспев, держась за руки в душистом саду, обсуждать любимые книги, искать смысл существования в капельках росы и робком шелесте листьев. Они не скучали друг с другом и с сожалением расставались, когда наступал час разлуки. Вероника любила представлять себя слепой: она закрывала глаза и вслух фантазировала о том, как прекрасен этот растревоженный многоцветьем звуков мир. Соловей пел о былом и неотвратимом, кузнечики стрекотали о недостижимости смерти, и только скрипка плакала о желании любить и жить вопреки...

Девушка часто вспоминала милые сердцу строки:

Сильны любовь и слава смертных дней,

И красота сильна,

Но смерть сильнее¹³.

Истомин ещё не знал, что выпущенные из книжного плена слова могут стать роковыми для неосторожного читателя.

Однажды Вероника выбежала ему навстречу босая, с израненными ступнями, в домашнем ситцевом платье. По

бледным щекам струились, как тихая музыка, прозрачные слёзы, а на искусанных губах выступили алые капельки... Алексей крепко прижал к себе эту хрупкую тоненькую фигурку; её плечи дрожали, и она всхлипывала. Наконец девушка начала рассказывать, время от времени прерываясь и умолкая:

– Я... мой... папа... папу забрали!

– Куда забрали? Зачем забрали? Что ты такое говоришь? – Истомин ощутил внезапную дрожь в коленях. Казалось, он вот-вот потеряет равновесие.

Вскоре Алексей узнал, что «Стрелу» закрыли, а главного редактора арестовали по подозрению в коррупции. Вероника была уверена, что её отца подставили недоброжелатели.

– Нам с мамой придётся продать дом... Уехать отсюда. О, знал бы ты, как сильно она страдает! Мне невыносимо видеть её слёзы... Моя бедная мама! Мой бедный отец!

Когда Вероника ушла, Алексей упал на колени и целовал её следы. Он хотел помочь, хотел выкупить этот чёртов дом, хотел утешить любимую и ни за что никуда не отпускать, но он и сам не имел никаких средств к существованию. Положение Истомина всё ещё было шатким, а после скандального закрытия журнала, где он публиковался, его могли ждать серьёзные проблемы. Все знали, какие отношения связывали молодого поэта с предателем и взяточником Лазурским.

Но всё-таки судьба оказалась к нему благосклонной; его пригласили на светский вечер к одной богатой старой де-

ве, которая называла себя «ценительницей высокого искусства». Валерия Семёновна сразу заметила обаятельного Истомина, заражённого загадочной меланхолией. Она оправила невзрачное серое платье, надменно задрала голову и, звеня бусами и браслетами, присела на краешек стула рядом с молчаливым поэтом. Он скользнул по её смуглому лицу вопросительным и вместе с тем совершенно равнодушным взглядом. Сорокалетняя женщина с огромной бородавкой на носу приблизилась к юноше, точно не замечая презрительной ухмылки на его губах, и шепнула:

– Неужели вы посетили мою скромную обитель, чтобы грустить?

Истомин отодвинулся – запах духов светской дамы показался ему неприятным. Он нехотя шевельнул губами, едва сумев побороть невольное раздражение:

– Простите, я уже собирался уходить. Спасибо за вечер, – юноша с отвращением поцеловал полную руку с короткими пальцами и встал с кресла. Валерия Семёновна тоже поднялась, внезапно обхватила Алексея за шею и поцеловала в висок. В чёрных волосах светской дамы уже поблёскивали жёсткие седые пряди. Поэт задрожал от негодования, но не отстранился.

– Скажи, чего же ты такого хочешь, что я не смогу тебе дать? Может быть, денег? – она подвела его к окну. – Видишь этот шикарный особняк на другом берегу? Он принадлежит мне, и мы будем жить там, если ты пожелаешь...

– Богачёва Валерия, ваша первая жена! – всплеснул руками я. – Как вы могли? А как же Вероника?

Истомин откинулся на спинку кресла и вытянул ноги.

– Я совершил непоправимую ошибку, но... Я мечтал воспользоваться её богатством, чтобы помочь моей... – он замолчал, так и не договорив, и приложил ладони к глазам. После продолжительной паузы Алексей наклонился вперёд и достал из кармана рубашки разорванный конверт.

– Это моя совесть, – он потряс перед нами пожелтевшим письмом, и его глаза блеснули, как у хищника, который угодил в собственную ловушку. – Последнее письмо от моей Вероники...

Истомин протянул мне конверт и почти потребовал:

– Читайте... Читайте вы... При всех... Вслух!

Мой дорогой Алексей! Пишу Вам и не могу сдержать слёз. Они падают прямо на бумагу и размывают буквы. Вы могли бы не тратить на меня своё драгоценное время, ничего не объяснять и не оправдываться... Знали бы Вы, как я всё это ненавижу!

Кажется, было бы куда легче, если бы Вы сказали мне, что больше не любите... Но зачем, родной мой, зачем, скажите мне, Вы так жестоки к Вашей бедной Веронике? Вы

и вправду думаете, что я смогу поступиться честью и стать... О нет, я не могу заставить себя написать это слово. Вы ведь, конечно, не это имели в виду, когда умоляли меня о встречах втайне от Вашей жены? Вы ведь и сами для этого слишком порядочны, разве не так? О, я даже не могу помыслить, что могла ошибиться... в Вас... Нет, нет, нет!

Вы просите хотя бы не прекращать переписку. Но как это возможно? Если Вы можете с такой лёгкостью отказаться от своих чувств, не думайте, что и я смогу. Простите, но это не в моей власти – я слишком сильно люблю Вас, чтобы однажды взять и забыть. Этого никогда не случится, моя память сильнее меня.

Не бойтесь, я не смогу Вас возненавидеть. И, разумеется, ничуть не обижаюсь, как Вы изволили выразиться. Можете не переживать, я и проклинать-то не умею... Знайте, я лишь желаю Вам счастья, да, я желаю Вас счастья, пусть и с другой женщиной. Что ж, стало быть, так распорядилась судьба. Я понимаю, что у Вас не было выбора. Вы написали, что ничего не могли мне дать, чтобы сделать меня счастливой. А я ведь ничего и не просила. Мне ничего не было нужно, кроме Вас... Вас одного! Мы могли бы сойти с ума или умереть, всеми отринутые, в нищете, но вместе... О, я не вправе, не вправе решать за Вас! Вы всегда были рождены для чего-то большего.

Помните стихотворение Китса?

*Сильны любовь и слава смертных дней,
И красота сильна,
Но смерть сильней.*

Мне остаётся только уйти одной. Пожалуйста, не вините себя. Живите!.. И иногда вспоминайте бедную Веронику, которая любила... отчаянно любила своего милого Алексея больше самой жизни.

Я прощаю Вас. Я отпускаю Вас.

Навеки Ваша

В.Л.

Я отложил письмо и повернулся к Истомину. Беспомощный старик в кресле беззвучно рыдал.

– Она отравилась крысиным ядом.

Мы посидели ещё немного в тишине и начали собираться. Хозяин дома принёс брату пакет с лекарствами и посоветовал бережнее относиться к своему здоровью. Ольга почти всё время молчала и как будто избегала смотреть мне в глаза. Но, когда мы прощались, она чуть дольше, чем следовало, задержала свою руку в моей, а потом бросила скупую благодарность:

– Спасибо, что пришёл.

За Истоминим приехал личный водитель. Алексей предложил мне сесть вместе с ним в машину и немного покататься по городу, но я отказался. Он нисколько не огорчился, а,

напротив, словно обрадовался моему отказу и похлопал меня по плечу:

– А вы не хотите стать писателем?

Я почувствовал, что краснею. Как он догадался?

Истомин не стал дожидаться ответа и добавил:

– Я подарил вам историю. Решайте сами, что с ней теперь делать.

Это была беспокойная ночь; я никак не мог заснуть, а когда забывался на время, меня мучили страшные видения. То мне представлялся безумный Истомин, размахивающий топором над бездыханным телом юной девушки с янтарными волосами. То передо мной появлялась Ольга в длинном белом сарафане. Она тянула ко мне руки, моля о спасении, и я кидался в её объятия, но обнимал лишь пустоту. Ольга ускользала, постоянно ускользала, как только я пытался прикоснуться к ней... Вдруг раздался телефонный звонок, и я долго не мог понять, сон это или реальность. Часы показывали полпятого утра. Я ответил и услышал взволнованный голос редактора «Хроноса»:

– Скворцов, я сам дарю тебе сенсационный материал!

– Что такое? – недовольно пробурчал я. Скользкие мурашки облепили моё измученное тело. Мне отчего-то не хватало воздуха и страшно хотелось пить. Я подошёл к графину с водой, но не успел наполнить стакан.

– Это большая удача, что я узнал первым, – тараторил в

трубку довольный редактор. – Тебе нужно срочно выезжать на место происшествия, пока тебя не опередили другие журналисты. И помяни моё слово: если и на этот раз допустишь ошибку, я тебя точно уволю!

Я сел на табурет и подпёр голову влажной рукой.

– Да что, в самом деле, случилось? Куда выезжать? Какое такое место происшествия?

Редактор цокнул языком – наверное, проклинал своего бестолкового сотрудника. Но я ведь и вправду не умел читать чужие мысли! В конце концов он успокоился.

– Промедление смерти подобно, – произнёс свою любимую фразу редактор «Хроноса» и бодро выкрикнул:

– Истомин повесился.

Я не устану проклинать

*ибо придет Сын Человеческий во славе Отца
Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст
каждому по делам его.*

Мф. 16:27

*Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте
место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение,
Я воздам, говорит Господь.*

Послание к Римлянам 12:9

Пусть к чёрной двери искупления

Слепцы-предатели идут...

Что значу я? Не мне отмщение,

Не мой над ними будет суд.

З. Гиппиус

1

В тихом саду среди застенчивых роз купалось выпущенное из ночного плена солнце. Лучи несмело обводили извилистые линии-тропы на ладонях смешливой земли. Прелестные сильфиды в облике мечтательных стрекоз танцевали над румяными лепестками, едва касаясь нежной кожи заколдованных цветов. Дивные звуки раскачивались на невидимых волнах в воздушном море, пахнущем одуванчиками, облака-

ми и счастьем. Казалось, нет ничего, кроме блаженного спокойствия; а пыль, не выметенная у ворот жизни, растворялась в дыхании зыбкой вечности. Мгновение длилось и не заканчивалось до тех пор, пока какому-то чудаку не вздумалось его остановить...

Девушка в лазурном ситцевом платье, прикрыв глаза, гордо несла над головой глиняный кувшин. Загорелая кожа хранила следы поцелуев пристыженной красоты. На бледно-розовых губах застыла восторженная улыбка. Для таких маленьких рук груз был слишком тяжёлым, но девушке удавалось сохранять царственную осанку. Незнакомка тянулась к самому небу, принимая прерывистый ветер как благодать. Он трепал её светлые кудри янтарно-пшеничного цвета и грозно сжимал свои детские кулачки. Но девушка выглядела такой беспечной, такой далёкой от всего мирского, что капризный странник смилостивился и оставил прежние безрассудные замыслы.

Грациозная дева пела, и иной путник невольно останавливался, чтобы дослушать волшебную песню до конца:

Помнишь ли, помнишь меня?

Путь до Итаки закрыт,

Метка из календаря

Вечность твою сохранит.

Пение девушки завораживало, словно за ангельским обликом скрывалась коварная сирена, и невозможно было устоять перед её демоническим обаянием... Но нет, это толь-

ко иллюзия: девушка с глиняным кувшином действительно покинула Олимп, чтобы передать жителям Эллады священный нектар и благословение богов.

– Неужели... – она запнулась, прищурившись. Нужно было удостовериться, прежде чем бросаться таким именем в первого встречного. – Вы ведь Тирей, муж моей сестры?

Мужчина кивнул, взял девушку за руку и поднёс её холодные пальцы к губам. Он не отрывал взгляда от Филомелы. Она казалась ему воплощением нежной красоты и пленительной невинности. Тирей задумчиво почесал широкий нос, покрасневший от солнечных ожогов, и защекотал подбородок. Чёрная кудрявая прядь упала на вспотевший нахмуренный лоб. Любопытные тёмные глаза внимательно следили за каждым жестом настороженной Филомелы.

– О да! Я муж твоей сестры Прокны... Но знаешь, ей никогда не сравниться с тобой. Я никогда прежде не встречал девушку прекраснее... – Тирей шумно сглотнул. На щеках вспыхнул румянец. Уже давно никто не вгонял фракийского царя в краску.

Девушка покачала головой и растерянно рассмеялась. Она хотела казаться спокойной и уверенной в себе, но её пальцы, сжатые в руке мужчины, предательски подрагивали.

– Да что вы! У меня нет ничего такого, чего бы не было и у моей сестры. Давайте обойдёмся без комплиментов. Знаете, я очень не люблю весь этот обмен любезностями...

И всё-таки Филомела чувствовала себя польщённой. Да,

она любила сестру самой искренней и беззаветной любовью, но слова Тирея не могли оставить её равнодушной. И почему только он продолжает смотреть на неё так, будто заражён чудовищной чёрной страстью и в следующую минуту... Нет-нет, этого не может быть! Этот красивый мужчина принадлежит её сестре Прокне!

Филомела высвободила руку и, прижав пальцы к пылающим щекам, отвернулась.

– Дорогая, – услышала она прерывающийся голос. Так мог говорить только осуждённый на казнь, который умолял палача дать ему отсрочку. – Ты и представить себе не можешь, каким оружием обладаешь. Позволь мне любоваться тобой хотя бы издалека! – его руки, точно цепкие щупальца, обвинили тонкую талию девушки.

2

Телефон разрывался от бесконечных звонков и сообщений. Девушка дрожащей рукой открывала очередное послание от благодарных учеников и родителей, уговаривая себя не плакать. Она столько времени провела в салоне красоты, а теперь непрощенные слёзы грозились испортить её макияж.

«Дорогая Лилия Сергеевна! Вы и представить себе не можете, как сильно повлияли на мою дочь! Помню, в пятом классе Маша терпеть не могла книги, а теперь читает взахлёб! Она обожает литературу и мечтает стать таким же чу-

десным учителем, как Вы».

От таких слов за спиной выросли крылья. И, казалось, тебе подвластны любые вершины, ты даже можешь покорить саму высоту! Лилия Сергеевна подошла к зеркалу, взяла ватную палочку и аккуратно вытерла растёкшуюся тушь. За девять лет работы в школе она со многим столкнулась. Встречались родители, которые писали на неё жалобы. Велико-возрастные коллеги считали её излишне мягкосердечной, а ученики нередко срывали уроки, пользуясь беспомощностью доброй учительницы. Но сейчас она об этом даже не думала. Сегодня, когда выпускался её любимый 9 «Б» класс, Лилия поняла, что выбрала правильный путь. Она могла быть только учителем и никем другим. Если ей удалось затронуть сердца хотя бы некоторых учеников, значит, её усилия всё-таки не пропали зря. Она, конечно, выпустит ещё немало классов, но первый выпуск навсегда останется в её памяти.

Телефон снова завибрировал. На этот раз пришло сообщение от мужа – успешного хирурга Филиппа Огнева, отца её будущего ребёнка.

«Посмотрел твою фотографию... Ну разве можно быть такой красивой? Да твои ученицы будут локти кусать от зависти!»

Лилия улыбнулась, поправила золотистый локон, который так и норовил выпасть из высокой причёски, и принялась набирать ответ. В последнее время она чувствовала себя слишком счастливой, и сама пугалась такого внезапного счастья.

Можно ли продлить это потрясающее мгновение и удержать его в ладонях? Попробуй остановить полёт бабочки, крепко сожми пленницу, а затем отпусти – и увидишь, что она мертва.

Счастье похоже на хрупкую вещь; чем сильнее боишься его разбить, тем скорее это случится. Один из вечных парадоксов, которыми грешит изобретательная на выдумки жизнь.

Лилия провела рукой по едва заметно округлившемуся животу. Скоро ей придётся на время забыть о чужих детях и заняться воспитанием своего ребёнка. Лилия долго наблюдала со стороны за отношением родителей к собственным детям и иной раз беспомощно разводила руками. Что, если и она не сможет стать хорошей матерью и сделает своего сына или дочь несчастными?

Учительница покачала головой, желая сбросить груз навязчивых мыслей. По всей видимости, человек никогда не может позволить себе просто получать удовольствие от каждого прожитого дня. И даже если всё вроде бы идёт хорошо, ты упрямо отказываешься в это верить и продолжаешь искать подвох.

Лилия взглянула на часы: ей следовало поторопиться. За окном такое мрачное небо, точно оно вот-вот свалится на землю и раздавит несчастных прохожих. Нужно вызвать такси, чтобы не замочить ноги. Лилия поставила перед собой жемчужные туфельки на высоких каблуках. Она подбирала

их к бежевому платью с широким подолом, которое ей очень шло и идеально подчёркивало фигуру. Правда, туфли оказались совершенно неудобными, но ради такого торжественного случая придётся немного потерпеть. Лилия волновалась едва ли не больше учеников, как будто это она выпускалась из школы и перед ней открывался целый мир, полный опасностей и чудес. Приходится готовиться и к тому, и к другому, чтобы перестать бояться неизвестности, ведь именно в этом и заключается великое искусство жить.

На экране телефона появилась фотография мужа и сообщение: «Вечером я тебя заберу». Лилия Сергеевна улыбнулась, накинула на плечи пиджак и повернула дверную ручку.

3

Сколько времени прошло с тех пор, как она очнулась в этой убогой хижине, куда, казалось, ни разу не заглядывал ни один даже самый любопытный человек? Филомела лежала на влажной после проливного дождя земле, сложив руки на груди, и беззвучно плакала. Гигантский паук, время от времени останавливаясь и прислушиваясь, угрюмо полз по стене, испещрённой неведомыми знаками. Он уже сплёл паутину-лабиринт для очередной жертвы, которой не в силах помочь даже Ариадна. Девушка отвернулась, не желая видеть несчастную муху, безнадежно барахтающуюся в сетях

хитроумного паука. А разве она сама, всегда такая осторожная, всегда такая внимательная, не стала жертвой грозного тирана с каменным сердцем и полой душой? Филомела перестала плакать и сжала кулаки: она обязательно отомстит за свою поруганную честь и заставит жадного сладострастника Тирея ползать перед ней на коленях. Только бы выбраться из этого жуткого места!

Если бы Филомела могла, она давно бы подала знак и закричала, но теперь вместо языка во рту болтался жалкий обрубок. Злобный Тирей обрёк её на вечное молчание, а ходить она пока не могла – не хватало сил и не получалось удержать равновесие.

– Ты никогда ничего не сможешь рассказать своей ненаглядной сестрёнке! – заскрежетал зубами фракийский царь, замахиваясь на девушку мечом. – Я скажу Прокне, что ты мертва, и она перестанет тебя искать.

– Никогда! – зелёные глаза Филомелы вспыхнули, как у безумной сивиллы, проклявшей весь человеческий род. – Никогда ты не заставишь меня молчать! Я найду способ рассказать миру о твоих злодеяниях... Обязательно найду!

Филомела, лишённая возможности говорить, не собиралась сдаваться. И если она умрёт прежде, чем сумеет выбраться из хижины, это её не остановит. Филомела не устанет проклинать Тирея даже из царства мёртвых и не успокоится, пока он не получит полагающееся ему наказание.

К вечеру девушка ползком добралась до выхода и приня-

лась с ожесточением царапать дверь в надежде, что её кто-нибудь услышит. Так оно и случилось: Филомелу отыскивали три неразлучные подруги-сестры. Мойры вытащили затворницу из хижины и напоили прохладной водой. Они громко засовещались, совершенно не заботясь о том, что девушка внимает каждому их слову. Да, она больше не может говорить, но с её слухом всё было в порядке.

– Как думаете, что с ней делать?

– Не знаю, но её срок пока ещё не пришёл.

– А что, если просто взять и оборвать нить?

– Вот-вот! Зачем ей жить? Она ведь теперь калека!

– Ну-ну! Не своевольничайте там!

Тут Филомела потянула нить, которую держала одна из мойр, на себя и обратила на богиню судьбы полный мольбы взгляд.

– Она хочет что-то рассказать, – поняла девушка, толкнув сестру в бок.

Филомела обвязала нить вокруг пальца, а затем повторила это движение ещё несколько раз, продолжая умоляюще смотреть на спасительниц.

– Она будет ткать, – внезапно поняла её намерения мойра. – Именно так она и расскажет о том, что с ней случилось.

Филомела радостно закивала и с благодарностью пожала мудрой девушке руку.

Грозное небо разрежала яркая молния, желая ослепить случайных наблюдателей хищной ненавистью. Жители Эл-

лады, оказавшиеся на улицы в такой час, спешили скрыться в тёплых домах. Но Филомела будто бы совсем ничего не боялась; она гордо шла навстречу надвигающейся грозе и торжественно аплодировала грому. Теперь она спасена и заставит Тирея заплатить за содеянное сполна.

4

Лилия бежала по залитой дождём мостовой, не обращая внимания на сломанные каблуки. По щекам струился другой, особенный дождь, который зарождается где-то под рёбрами и иногда вырывается из плена наружу, разъедая глаза солью. Она неслась что есть сил, обгоняя автомобили, и будто бы ещё не вполне осознавала, где находится. Сон это, всего лишь жуткое сновидение, кошмар, от которого рано или поздно просудишься, или жестокая реальность, похожая на вконец обезумевшего тирана? Длинные золотистые кудри выбрались из неудобной причёски и постукивали по спине, как бы подталкивая и помогая побеждать скорость. На светлом платье расползались, как ученические кляксы, пятна грязи. Лилия бежала по лужам, не видя других дорог, потому что всё ещё надеялась проснуться, когда ливень закончится. По разорванным колготкам струилась кровь – поранила ноги осколками от бутылки. Но боли будто не существовало – ничего, что позволило бы называться живым суще-

ством. Она напоминала фарфоровую куклу, которой управляла хитрая хозяйка. Ещё немного – и разобьётся под звонкий смех безжалостной коллекционерки.

Наконец Лилия остановилась возле центральной больницы, где работал её муж. Сжаты в руке телефон безнадежно вибрировал. Наверное, администрация школы пытается достучаться до пропавшей учительницы. Она ведь ещё не успела сообщить им, почему не смогла прийти на выпускной. Несколько минут назад девушка услышала в трубке прерывающийся голос матери, странный шум на заднем фоне и чьи-то громкие крики.

– Мы попали в аварию, дочка... Твой папа и брат... Они... они...

– В критическом состоянии, – подтвердили в больнице, когда Лилия ворвалась в старое обшарпанное здание с намытыми, пахнущими хлоркой полами.

– Отведите меня к ним, прошу! Отведите! – упав на колени, взмолилась девушка. Её чёрные, вымазанные тушью щеки подрагивали в такт сбивчивым фразам.

– Прошу прощения, но вам туда нельзя...

– Филипп... Тогда дайте мне Филиппа... – прохрипела Лилия и потеряла сознание, всё ещё цепляясь за слабую надежду на спасительное пробуждение. Тогда она укутается одеялом и повернётся к окну, чтобы поймать в невидимый ловец утренний лучик солнца. Она обнимет себя за плечи и едва слышно шепнёт: «Ничего страшного. Это всего лишь

сон».

Лилия очнулась от едкого запаха нашатырного спирта.

– Боже, милая! Как ты себя чувствуешь? – раздался над её ухом ласковый голос мужа. Таким тоном иной раз говорят психиатры, чтобы успокоить разбушевавшегося пациента.

– Филипп... – пробормотала Лилия. – Филипп... Что же теперь делать?

– Боюсь, мы здесь совершенно бессильны, – развёл руками хирург, отворачивая лицо и подходя к окну. Он налил из графина немного воды и предложил Лилии. Она отодвинула от себя стакан и резко вскочила на ноги. Голова продолжала кружиться, и девушка, боясь снова потерять равновесие, вцепилась в стул, но не села. Она продолжала стоять, не в силах унять дрожь в коленях, и умоляюще смотрела на лысеющий затылок успешного врача.

– Ты должен спасти их, Филипп! Должен!

– Но я ведь не Бог, милая, – всё таким же приторно-слащавым тоном проговорил хирург. Он до сих пор не нашёл в себе сил обернуться и взглянуть на жену. – К тому же операция стоит больших денег... Мы не потянем, любимая, у нас ведь будет ребёнок!

– Ребёнок? – правая бровь Лилии заметно изогнулась, как случалось всякий раз, когда она теряла контроль над своими эмоциями. – Да лучше бы он вообще не родился... у такого отца!

– Замолчи! – Филипп наконец повернулся. Его глаза свер-

кали, как у хищника, который приготавливается к прыжку, чтобы растерзать жертву. – Вырвать бы твой язык за такие слова!

5

Уже смеркалось, когда Тирей вернулся в родной дом и, обняв жену, сообщил ей страшную весть о смерти бедной Филомелы. Но Прокна даже не изменилась в лице, только на пару минут замолчала и, отбросив со лба толстую каштановую прядь, предложила фракийскому царю сесть за стол.

– Ты ведь, наверное, голоден, – как-то странно сощурившись, пропела жена. Она провела пальцами по смуглой коже Тирея и оставила на лбу влажный поцелуй.

– Мне очень жаль, Прокна. Я знаю, как сильно ты любишь свою сестру, – фракийский царь послушно сел за длинный стол, который обыкновенно был уставлен самыми разнообразными яствами. Тирей обожал устраивать грандиозные пиры, где друзья выпивали вместе с врагами, высоко поднимая переполненные кубки во славу Диониса.

– О да, безумно люблю! – хищно сверкая глазами, проворковала Прокна. – На самом деле я уже получила послание, – сказав это всё тем же пугающе-загадочным тоном, она удалилась из пиршественной залы, в которой сегодня было непривычно тихо, словно в один миг вымер весь человеческий род. Тирей облокотился на кресло и задумался. На лбу

обозначились морщины, между бровями пролегла тревожная складка.

Какое-такое послание могла получить его жена? Что, если она каким-то образом узнала правду? Тирей защекотал подбородок с такой силой, точно хотел вырвать из густой бороды все волосы. Нет, этого не может быть! Филомела никому ничего не сможет рассказать, даже если ей и удастся выбраться из той заброшенной хижины. Фракийский царь с напряжённым вниманием принялся разглядывать картину, повешенную прямо посередине зала. Он с таким интересом рассматривал обращённые друг к другу лица Персефоны и Гадеса, словно видел их впервые. Бог подземного царства протягивал возлюбленной блюдо с гранатовыми зёрнышками.

– Ужин готов, – объявила Прокна, внося в залу огромный кусок сочного мяса и бутылку красного вина.

– Дорогая, почему ты сама меня обслуживаешь? Разве у нас мало рабов? – удивился Тирей, переводя растерянный взгляд на странное лакомство.

– Просто... – Прокна выдержала паузу и взмахнула тёмными кудряшками, – я по тебе так скучала!

Тирей поднёс ко рту первый кусок, принялся медленно жевать, с трудом проглотил и поперхнулся. Не то чтобы ему не понравилось кушанье, просто царь мог поклясться, что никогда прежде не пробовал ничего подобного. Он отпил из кубка немного вина и тотчас же выплюнул, разразившись ожесточённым кашлем. Почему оно пахнет человече-

ской кровью? Тирей вытер испачканные губы и повернулся к жене, которая всё это время с необъяснимой жадностью наблюдала за каждым его движением.

– Мне кажется, или здесь слишком тихо? И где мой сын Итис? Я очень хочу поскорее его увидеть!

Прокна поцеловала мужа в макушку и положила руку на его живот.

– Твой сын теперь всегда будет с тобой... Он здесь, внутри тебя, разве ты ещё не понял? – не переставая улыбаться, Прокна погладила мужа по животу.

В эту минуту с шумом распахнулись двери, и фракийский царь, простонав что-то неразборчивое, повернулся. На пороге стояла ликующая Филомела, прижимая к груди окровавленную голову его сына.

6

Взгляды всех опьянённых зрителей были прикованы к безумной женщине с бледным лицом и растрёпанными, выкрашенными в чёрный цвет волосами. Её обвиняли в чудовищном преступлении, и, в общем-то, исход этого дела был предрешён и очевиден. Никто не мог без содрогания думать о том, что находится в одном зале с такой опасной убийцей. Между тем подсудимая сохраняла почти ледяное спокойствие, словно всё происходящее никоим образом к ней

не относилось. Даже адвокат отодвинулся от подзащитной на безопасное расстояние, боясь случайно к ней прикоснуться.

– Огнева Лилия Сергеевна, бывшая учительница русского языка и литературы, обвиняется в преднамеренном убийстве собственного ребёнка, – прокурор – рыжеволосая женщина в синем костюме – обожгла подсудимую взглядом, полным отвращения. – Боже мой! Вы ведь и сами педагог! Как вы могли так поступить?

Судья, ударив молоточком, сделал сердобольной женщине справедливое замечание:

– Прокурор Потапова, попрошу контролировать свои эмоции. Мы с вами находимся в здании суда.

Но и он едва ли мог оставаться спокойным; всё это время его нижняя губа заметно подрагивала, голос звучал слишком приглушённо, и иногда судья даже срывался на хрип.

– А я прошу принять во внимание, что моя подзащитная потеряла близких – родного брата и отца. После такой трагедии она совсем лишилась рассудка, – неуверенно заговорил адвокат, вытирая покрывшееся красными пятнами лицо белоснежным носовым платком.

– Да прекратите вы ломать комедию, адвокат Архипов! – подсудимая неожиданно встала, вцепившись в край стола с такой силой, что у неё побелели пальцы. Никто не давал ей права высказываться, но в то же время никто не посмел её остановить. – Вы говорите, что я педагог? Спрашиваете, как я могла так поступить? – Лилия с вызовом посмотрела на ры-

жеволосую даму и усмехнулась. – Когда-то я была прекрасным учителем... Я всё делала для чужих детей! Я угождала завучам и директору! Но никто из них не помог мне спасти мою семью. Ни у кого из них, видите ли, не оказалось денег! – она запрокинула голову и громко расхохоталась. Бледная, с угольно-чёрными волосами, Лилия напоминала демона, сбежавшего из самого ада, потому что даже там для неё не нашлось подходящего места. – Зато администрация сделала мне выговор за то, что я посмела не явиться на выпускной! А знаете, что мне сказал директор, когда мои родные скончались в той ужасной больнице с тошнотворным запахом?! – она обвела взглядом застывших слушателей. – Мол, все мы смертны и все рано или поздно умрём! Ну ничего, я их всех прокляла! И своих учеников, и их родителей... и всю эту чёртову школу! Я не устану их проклинать, даже когда умру! Да если бы вы меня не поймали, я бы подожгла... подожгла школу, которая убила моего отца и брата!

– Подсудимая! Да что вы себе позволяете? – почти закричал судья, вскакивая с места. Как так вышло, что эта демоническая женщина обрела над всеми ними такую беспредельную власть?

– Плевать, они всё-таки чужие, – махнула рукой Лилия, не обращая внимания на возмущённый возглас судьи. – А вот он... он... Он должен был их спасти! И то, что я сделала... Это возмездие! И если бы всё повторилось, я поступила бы точно так же. Но даже так ему всё равно никогда не искупить

свой грех!

– Выведите её из зала, в самом деле!

– Кто-нибудь!.. Заставьте эту умалишённую замолчать!

Филипп возвращался домой после ночной смены и неудачной операции. Человек скончался прямо на операционном столе, и это он, успешный хирург с многолетним стажем, допустил ошибку ценою в жизнь. Не то чтобы его так сильно волновала чья-то смерть, за долгие годы он почти привык к этому, да и вообще относился к нашему бренному существованию с откровенным цинизмом. Дело в том, что совершённая ошибка могла серьёзно повредить его репутации. Огнев тяжело вздохнул и забрался под одеяло в надежде, что восьмичасовой сон поможет хотя бы на время забыть о случившемся. Он повернулся к стене и вдруг ощутил рядом с собой что-то твёрдое и холодное...

– Она задушила собственного ребёнка и подкинула мужу его труп! Да я бы вообще её казнила!

– А они ещё хотят признать её сумасшедшей и отправить в психушку.

– Правда? А я слышал, ей дали пожизненное!

– Поверить не могу, что такое чудовище учило мою Машеньку!

Яркая молния расколола угрюмое небо на две неравные части. Бог грома издал такой страшный вопль, что сама земля затряслась и заскрежетала зубами, охваченная непреодолимым ужасом. Птицы с безумными криками разлетелись в

стороны, спеша поскорее укрыться в уютных гнёздах. Лишь соловей да ласточка¹⁴ бесстрашно кружились над опустевшим миром и ждали дождя, как грешник ждёт искупления.

Третий шаг

Сцена 1. Стихийное бедствие

– Отправляется поезд триста семьдесят шестой «Москва-Воркута»... Отправляется поезд триста семьдесят... – нахмуренный молодой человек в коричневой вельветовой куртке прикрыл уши руками. Ему всё равно, какой поезд и куда отправляется. Он не собирается никуда ехать. И вовсе не обязательно отбрасывать непослушные белые пряди. Пусть хоть что-нибудь закроет его проклятые зрением глаза.

Впрочем, срываю ненужные маски (всё-таки не на театральных подмостках). Этот сгорбленный уставший молодой человек на вокзале – я. Как только я опустился на мягкое кожаное кресло, мой желудок огласил помещение рёвом неутоlimого голода. Мне захотелось громко рассмеяться, но случайные соседи уже и так неодобрительно косились на мою грязную физиономию. Поэтому я молча проглотил скепти-

ческую насмешку над самим собой: только что мечтал просто присесть, а теперь мечтаю о вкусной еде. Парадоксальна сущность человеческая и двойственна: всё время зазубривал это дурацкое определение: «человек – биосоциальное существо», хотя можно было бы сказать проще и понятнее, говорящая мразь. Биологического в нас значительно больше, но из-за безумного самосознания мы выглядим слабее и ничтожнее диких зверей. Наши желания безграничны, а животные умеют довольствоваться одним «здесь и сейчас». Разве это не та мудрость, к постижению которой мы так стремимся? Желудок сделал ещё несколько пируэтов в пределах стен своей крепости. Но у меня были только пустые карманы и аптечка в чёрном рюкзаке. Аптечка – это старая привычка, как бы напоминающая, что я однажды связал себя клятвой с Гиппократом.

– В случае стихийного бедствия сохраняйте спокойствие... В случае стихийного бед... – ворвался грубый женский голос. Откинул голову назад, закрыл глаза и представил, как начинает буйствовать чертовски голодная земля. И тогда все эти люди становятся потенциальными жертвами, что прекрасно сознают, но всё-таки остаются неподвижными. Им приказали сохранять спокойствие, и они не знают, что такое паника.

Внимательно посмотрел на проглоченных пастью очереди незнакомцев и подумал, что сохранять спокойствие в принципе забавно. Начинается страшное землетрясение, ломают-

ся стекла, вылетают двери, обрываются провода, и в воздухе виснет лишь отголосок: «покойствие-койствие-ойствие», а суетливая девочка с чёрным паспортом замирает у билетной кассы, становясь всего лишь частью нового паноптикума. Старичок с трясущейся головой излечивается от паралича *страхом сделать лишнее движение*. Панк в косухе губами прилипает к горлышку бутылки с портвейном, предпочитая умереть с повышенным содержанием алкоголя в крови. Тогда какой-нибудь фотограф сверху, смеясь и подтрунивая, запечатлеет эти застывшие статуи-фигуры...

Лёг на освободившиеся места под табличкой «для инвалидов» и положил руки под голову. И если бы кто-нибудь посмел согнать меня отсюда, я бы сказал: «Сохраняйте спокойствие и катитесь в свои душевные вагоны». И это вполне справедливо: вокзал – их временное пристанище, они приходят сюда, чтобы купить билеты или дождаться своего поезда. А я всего лишь бездомный бродяга, который собрался здесь умереть.

Мне стало холодно, поэтому я приподнялся на локтях, снял грязную вельветовую куртку и укрылся ей как одеялом. Казалось бы, ничего не изменилось, но что-то всё-таки поменялось.

– Отправляется поезд триста семьдесят шестой...

Боже праведный, когда же он уже отправится? Когда отправятся все эти поезда и оставят меня одного лежать на местах для инвалидов, как на рельсах, и упиваться своим оди-

ночеством? Какая-нибудь старушка приведёт сюда слепого сына и проворчит мне прямо в уши: «Да у вас совести нет!» И она будет абсолютно права. В конце концов, где моя совесть? В какой могиле на заброшенном кладбище души она обитает? Как бы то ни было, её невозможно найти среди вороха *живого*. Живо, что вечно. Ничто не вечно, кроме одиночества.

Сцена 2. Девушка в парке

Я научился смотреть под ноги. Не на людей и не на небо с плюшевыми облаками, а под ноги. Просто в детстве слишком много раз расшибал коленки. Сиделка – вечно ворчащая полная женщина в затемнённых очках пребольно шлёпала меня и ругала: «Не ворон считай, а под ноги смотри». Мне было до жуткой дрожи обидно. Во-первых, меня несколько не пожалели, а только прибавили болевых ощущений. Во-вторых, я никогда не считал ворон. Я их просто ненавидел. В восемь лет стащил у старшего брата толстую красную книгу и прочёл изумительно жестокое стихотворение, которое так и называлось «Ворон». С тех пор с пренебрежительным страхом взирал на этих прожорливых чёрных тварей с жадными глазками и содрогался от злобного «Кар» – почти «Nevermore». Я не избавился от своей нелепой фобии

и в двадцать семь лет. Поэтому, когда мне прямо под ноги упало громадное чёрное перо, я вздрогнул от неожиданности и медленно поднял голову. И кого я ожидал увидеть? Сейчас мне кажется, что никого, кроме нее. Она сидела на холодной скамейке в тоненьком плащике, поджав под себя ноги. Одно плечо было ниже другого: девушка слишком увлечённо писала что-то в старый, потрёпанный блокнот, обтянутый исцарапанной черной кожей. Густые волосы до плеч потрясли меня. Понимаете, они были не просто чёрными, как её блокнот, и плащ, и туфли, и лак на ногтях, – её волосы напоминали крылья хищно ухмыляющейся птицы. Трясущимися руками я взял упавшее перо и приложил к её толстым прядям – а не отсюда ли оно выпало? Девушка подскочила на месте, точно только что обнаружила присутствие чужака, и вперила в меня яростный взгляд. Это были огромные карие глаза, напоённые дикой, страшной болью. Тогда я ещё не понимал, какой это сорт боли и что он может значить. Незнакомка ничего не спросила, выхватила перо, вставила в блокнот, с шумом захлопнула, смяв две-три страницы, и вся отдалась новому занятию: «прокалыванию» моего лица иглами длинных чёрных ресниц. Огоньки неприрученной ярости заплясали в её глазах, когда я выпалил (чтобы что-нибудь сказать):

– У тебя такие глаза... Огромные.

И прежде чем я успел что-то сообразить, она выплеснула мне в лицо воду из бутылки «ВонАqua».

– Сущий дьявол, – пробормотал я, вытираясь. Ненавижу,

когда мокрая рубашка прилипает к телу.

Девушка снова открыла блокнот и записала ещё пару фраз на незнакомом мне языке, потом задумалась, постучала по жёлтому листу длинными аккуратно покрашенными ногтями и ударила меня по голове. Этого я уже вынести не смог. Прижал её со всей силой к спинке скамейки и угрожающе заговорил:

– Остынь, девочка, и попроси прощения!

Она громко расхохоталась, обнажив белоснежные зубы. Эта белизна ярко контрастировала с преобладающим в её облике чёрным цветом. Вся моя прежняя суровая решимость как-то поблекла.

– Что ты пишешь в своём блокноте? – спросил я, на всякий случай отодвигая от неё бутылку с остатками воды. Девушка удивлённо подняла густую чёрную бровь.

– Тебе действительно хочется это знать? – её голос звучал неожиданно мягко, приятно для слуха.

– Почему бы и нет? – пожал плечами я, – Может быть, ты писатель? Тогда мы братья по перу. Хотя я, скорее, сочинитель. Когда есть настроение, могу накрапать какой-нибудь стишок, глупый, нескладный. Вот метафоры придумывать очень люблю. Напишу что-нибудь и наивно предполагаю, что я первооткрыватель и никто не...

Она зажала мне рот рукой, чтобы говорить самой.

– Знаешь, чем я занимаюсь? Придумываю пытки. Всякие там испанские сапоги и электрические стулья – уже не круто.

Я предпочитаю убивать медленно: клеточка человеческого сердца в секунду. А ток, который я использую, опаснее электрического – это ток любви, – девушка сверкнула хищными глазами и встала, отшвырнув меня, как старую тряпичную куклу.

– Послушай, как тебя зовут? – в отчаянии я решил уцепиться хотя бы за её имя, поняв, что она сейчас просто исчезнет.

Моя странная собеседница улыбнулась одними уголками губ:

– Сегодня Аврора.

Да, это выдуманное имя – такое же, как и весь мир, существующий в пределах её головы. Но я поверил в него и, судорожно сжимая вновь оброненное ею перо, слушал, как резким стуком отзываются высокие каблуки. Мне очень не хотелось, чтобы она уходила; моя незнакомка как будто почувствовала это, обернулась, задумчиво пожевала губы и, наконец, сказала:

– Ищи меня, после того как выпьешь два бокала виски и выкуришь сто шестьдесят девять сигарет за раз.

Что она имела в виду? «Ищи меня за чертой своей жизни», – не так ли? В загробном мире? В её мире?

Чёрный плащ медленно ускользал из виду.

Сцена 3. Мотылёк

У меня есть неофициальная жена. Если выразаться языком обывателя, у нас гражданский брак. Я не люблю её, но по утрам просыпаюсь у неё на груди. Любой из вас не дал бы никакого другого описания: бледная, невысокая, всегда с пучком на голове и искусанными губами. И кроме этих губ, в ней нет ничего примечательного. Она кусала их по три раза в пятнадцать секунд: когда вытирала крошки со стола, пылесосила ковер, обнимала мои плечи и завязывала мне галстук.

Мы столкнулись в книжном магазине два месяца назад: положили руки на одну и ту же книгу: «Маленький принц» Экзюпери с яркими, красочными иллюстрациями. Девушка вздрогнула, поправила пучок и как-то бешено-неуверенно улыбнулась.

– Моя любимая. Хочется иметь это издание, оно потрясающе оформлено.

Никогда не слышал подобный голос: это были не слова, а ноты – от высоких к низким. Мне показалось, что у неё проблемы с умственным развитием, но на самом деле это был просто мотылёк. Некрасивый, но завораживающий взор

наблюдателя в полёте. Её разговор – такой же полет. Я тогда признался, что ни разу не читал этой взрослой сказки и наконец решил восполнить пробел в своих знаниях. А она уступила мне последний экземпляр, как будто я об этом попросил.

– Прочитаю и отдам вам, милая Варвара.

Собеседница покраснела, услышав, как я её назвал. Ей совсем не подходило такое угрожающее имя. Поэтому я стал называть её Варей и не иначе – это уже другое дело, звучит ласковее. Взял номер телефона не только, чтобы отдать книгу. Одиночество уже тогда глотало мои нервные клетки. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь был рядом. И мне вовсе не обязательно любить этого «кого-нибудь». Достаточно ощущать тепло и чувствовать себя защищённым. И Варя просто пришла ко мне и крепко сжала мои ледяные ладони.

– Как ты можешь жить в такой грязи? – пропела она мотыльковым голосом.

Я ничего не ответил. Варя взяла половую тряпку и принялась за работу. Она была помешана на чистоте: каждую тарелку, ложку или вилку начищала до блеска. Благодаря ей, я тоже полюбил чистоту и не терпел, когда видел на полу след от грязных ботинок. Я полюбил чистоту, которую создала из первозданного хаоса девушка Варя. Она ничего не требовала за свою работу – разве что самую малость – капельку любви.

Поэтому каждый день я просыпался на её груди, заплетал

тоненькие серые волосики в косички и имитировал любовь.

Сцена 4. Сон и Реальность

А ещё мне приснился сон. Для меня это невесть какое событие. Я вообще не вижу сны, потому что слишком устаю на работе. А может быть, и вижу, но никогда не запоминаю. Но этот помню в подробностях. Меня привязывают к кровати, как будто я перестал быть врачом и добровольно отдался в пациенты, как в солдаты; мои руки ощущают холод металлических поручней пружинной кровати. На невидимые раны накладывают тысячи бинтов, только чтобы не смог освободиться. А я молча наблюдаю за тем, как человек в белом халате нелепо бинтует, и кричу, что это неправильно, так нельзя, нужно по-другому накладывать и перевязывать... В мой рот вставляют бинт. В склонившемся надо мной озабоченном лице узнаю Варю. «Ну что ты! Это же я, твой муж. Прекрати играть в дурацкие игры. Освободи меня», – пытаюсь говорить с ней глазами. Но Варя только громко смеётся, и я жалею, что мне не заткнули уши. Моя жена отворачивается и вдруг резко выплёскивает воду из графина прямо мне в лицо. Внутренне содрогаюсь: это не Варя, это королева пыток. Вот стоит передо мной и хохочет, а из белоснежного колпака

выбиваются густые чёрные пряди. «Аврора! – кричит подсознание, надрывая нервы, – что ты опять придумала?» А она улыбается дьявольской улыбкой и хоронит меня заживо. Барабаню по крышке гроба, но не могу издать ни звука. Есть кто-то значительно сильнее меня...

Когда я проснулся, мне захотелось выпить два бокала виски и выкурить сто шестьдесят девять сигарет за раз. Хороший способ самоубийства для добросовестного врача.

Я увидел Аврору в парке в ветреный вечер около семи часов. Она была одета в розовый свитер и голубые джинсы. Чёрные волосы аккуратно заплетены в косы. Ну прямо пай-девочка, нечего сказать!

– Аврора!

– Мария. На сегодня Мария, – нежно поправила она. Огромные глаза призывали меня сесть ближе. Сел и тут же оказался в зловеще крепких объятиях.

– Это я тебя вызвала, ясно? – громко сказала она, сорвала с моей груди галстук и заметила, что ненавидит интеллигентных мужчин.

Я никогда не был самим собой рядом с этим человеком. Она манипулировала моими желаниями и поведением, и мне, как ни странно, это нравилось. Аврора-Мария увела меня в какую-то подозрительно заброшенную пещеру и заявила, что это вершина, которой не может достичь даже небо. С необыкновенной нечеловеческой силой она бросила моё тело на дно своей вершины и обожгла губы нашим пер-

вым поцелуем.

– Подожди, – задыхаясь, проговорил я, – если этой вершины не может достичь даже небо, какого чёрта здесь делаем мы?

– А ты до сих пор не понял? – девушка как будто огорчилась.

– Ты хочешь сказать, что мы в аду?

– Какая же это вершина?

– Значит... – наконец-то понял, а она озвучила:

– В моём выдуманном мире.

А потом возлюбленная купила меня у самозабвенного эгоизма:

– Теперь ты принадлежишь только мне, ведь так?

Молча кивнул. Я действительно находился под её властью. Меня как будто привязали бинтами к земле – вершине, недосягаемой для неба.

Сцена 5. Виктория, или новая Лолита

Я один из тех врачей, которых называют хирургами. Иногда мне кажется, что это никакая не специальность, а тоже диагноз, причём болезнь неизлечима. В интернатуре сходил

с ума от медицинского халата, запаха нашатырного спирта, скальпеля и синих бахил. Мне казалось, что я великий полководец, который отвоевал у неприятелей собственный диагноз. После первой удачной операции чувствовал себя Богом. После второй неудачной – Дьяволом. Никогда не хотел, чтобы кто-то из людей умирал. Смерть наводит на меня ужас, и я никому этого не желаю. Могу драться со своими врагами, закрывать дверь перед их носом, сквернословить, но... никого из них не хотел бы видеть мёртвым. Что же тогда говорить о тех, кого я люблю?!

Ей всего шестнадцать, но она стоит на границе между жизнью и тем, чего я боюсь. Моя маленькая Виктория с красивой искренней улыбкой. Храню светлый локон из остриженных перед операцией волос. Как я жалок, что не могу спасти даже такое хрупкое созданище! Разве я для того стал врачом, чтобы быть таким бессильным?

Виктория была в меня влюблена. Не знаю почему, наверное, ей нужно было познать сильное чувство перед тем, как... Она подкладывала мне любовные письма – в основном, детские стихотворения слишком вольным ямбом. Аккуратно клал каждое в специально отведённую папку с надписью: «Моя Лолита». Меня ещё никто не любил так, как она. Никто не был так по-настоящему и бескорыстно нежен. Просто любовь безо всяких задних мыслей, коварных лабиринтов и ревнивых обвинений. Можете себе представить? Любовь ребенка с лучистыми голубыми глазами ангела.

Однажды в саду близ больницы она увлечённо плела венки, чтобы прикрыть цветами обнажённую голову. Я тайком наблюдал за каждым движением красивых маленьких пальчиков, завязывающих узелок за узелком. Но Викторину невозможно было обмануть. Она почувствовала на себе мой взгляд и робко подняла наполненные слезами глаза: «Не хочу умирать», – читал я, но она молчала. Эта девочка не любила лишних слов. Её глаза красноречивее. Ласково притянул её к себе и услышал громкий стук верного сердца.

– Почему ты босая в такой холод? – спросил, глядя её по спине. – Ты простудишься, – и тут же ущипнул себя. «Простудишься... О какой простуде может быть речь, когда у неё осталась в лучшем случае неделя?» Она как будто услышала этот внутренний монолог, подняла красивую головку, грустно посмотрела на меня и ничего не сказала. Это было и молчаливое согласие с моими размышлениями, это была и скорбь по сгорающей «вечности»...

– Ладно, расскажи лучше, как провела вечер моя любимая пациентка, – попытался изменить тон на более беспечный, но голос всё-таки предательски дрожал.

– Я? – Виктория отошла от меня, подняла упавший венок и чуть улыбнулась. – Я думала... Очень много думала. Я раньше никогда столько не думала. Не любила тратить на это время. А теперь, как ни странно... – она недоговорила, снова бросила венок и пытливо посмотрела на меня. – Почему у меня такой маленький срок? Мама всегда говорила, чтобы

я любила Бога, молилась ему. И я любила, и молилась, а теперь не понимаю Его. Разве Он никогда не слышал стук моего сердца, которое кричит о желании жить? – её взгляд стал совсем серьезным, как у сосредоточенного взрослого человека, – но я не хочу никого обвинять. Единственное, чего я желаю – это дать один совет... – она опять замолчала, на губах застыла печальная улыбка. – Пусть никто никогда не верит лживым словам: «Ты ещё так молод или молода, у тебя всё впереди». Нет никакого «впереди», есть только «здесь и сейчас». Нельзя ничего откладывать на потом. У нас совершенно, катастрофически нет времени.

Слушал и не верил, что это говорит моя Виктория, которую я до сих пор считал маленькой. Всё думал, что она сейчас разрыдается, кинется мне на шею и скажет это естественное: «Я не хочу умирать! Пожалуйста, сделайте что-нибудь». Но так мог сказать кто угодно, но только не она. Её бледное лицо приняло какое-то странное выражение. Долго не мог вспомнить, что мне это напоминает, и вспомнил: видел такие же лица на иконах. И сейчас, глядя на Викторию, я видел лик Богородицы.

А потом опять прижал её к себе и подумал, что ни за что не отдам в лапы смерти. Кто-то в голове посмеялся надо мной: «Кто тебя спросит, кретин?» Я вдруг вспомнил, как однажды умирал мой кот. Он ужасно страдал, и я его усыпил. А когда она будет мучиться, что я сделаю? Безжалостное «ничего?» Безжалостное «ничего».

Виктория прервала беспощадные мысли и робко проговорила:

– Я очень люблю вас, – сказала она, и это было первое признание не в письмах. – Я люблю вас, – увереннее повторила моя девочка, – и я счастлива, что скоро умру, ведь в таком случае у меня есть право... – она выпорхнула из моих объятий, как бабочка, вырвавшаяся на волю. – Право поцеловать и не бояться последствий, – Виктория доверчиво приблизилась к моему лицу.

Сцена 6. Хаос

Она сходила с ума или изначально была сумасшедшей? Теперь уже не знаю, но никогда я не любил её так, как в ту самую минуту, когда она носилась передо мной с подушкой, закутанной в покрывало, и подражала крику младенца. Аврора была беременна. От меня.

Я никогда не хотел ребёнка. Честно говоря, я вообще боялся детей. Просто слишком часто наблюдал за молодыми семейными парами с удручёнными лицами и погубленными судьбами. Крикливое дитя дёргало уставшую мать за краешек платья, а та давала ему звонкий шлепок... Когда видел нечто подобное, всё во мне будто переворачивалось, ходи-

ло ходуном, как неуправляемый ураган. Приходили воспоминания, которые хотелось забыть, глубже вогнать в пещеру души и оставить там насовсем, не давать право выхода. Меня не просто недолюбили в детстве. Меня не любили. Но больше я не хочу никому об этом рассказывать.

Проблема в том, что в скором времени я должен был стать отцом и боялся, что мой ребенок будет нежеланным, как и я сам.

Аврора (пусть будет так, не успеваю за сменой её имен) как будто чувствовала моё смятение. Она с нечеловеческой силой била меня в грудь, подносила к глазам мягкую подушку и гневно кричала:

– Это наш ребенок! Видишь? Видишь, я тебя спрашиваю? Наш! Он может быть только наш – твой и мой, я ещё никогда ни с кем, кроме тебя... Возьми его! Будь осторожнее!

Бережно брал из её рук подушку и делал вид, что целую невидимую головку. Иногда она в отчаянии садилась, обхватывала колени руками и принималась беззвучно рыдать. Тогда я обнимал её и ничего не говорил: просто дышал в ритм вздрагивающим плечикам.

– Ты не хочешь его... Не хочешь нашего ребенка, – обвиняла она.

Я ничего не мог сказать в оправдание. Это была чистая правда. Аврора хотела воспитать дочь. Уверен, она была бы чудесной матерью, но я...! Однако все наши желания-нежелания хрустально ничтожны перед лицом руководителни-

цы-Судьбы – она всё равно всегда побеждает. Вы скажете, я фаталист – и будете правы. Безднадёжный фаталист, и для меня это значит быть реалистом.

В общем, у Авроры случился выкидыш, и я её больше не видел. Не знаю, сколько сигарет выкурил в ту ночь, но гораздо больше, чем сто шестьдесят девять. В половину второго услышал страшный крик, и во мне как будто что-то оборвалось. Я тогда ещё ни о чём не подумал, но уже, конечно, всё прекрасно понял. Мне хотелось выбить эти злосчастные двери, отделявшие меня от неё, но врачи приковали моё тело к издевательски вычищенным стенам. – Берите себя в руки, – давали совет круглые очки с запотевшими стеклами. И я так захотел разбить их, но вместо этого только послушно опустил на деревянную скамейку напротив палаты номер тринадцать. Не знаю почему, но я никогда не был способен на протест, бунт и ещё что-нибудь в этом роде. Всё время подавлял гнев; слишком много раз его подавлял, и он наконец-то отплатил мне опустошением.

Аврора кричала, что они, эти жестокие люди в белых халатах, убили её ребёнка.

– Верните моего ребёночка! Верните мне мою маленькую дочь! Вы разрубили девочку на кусочки! Кто дал вам право? Кто?

Я знал, что, если она говорит это, значит, так оно и есть. Не может быть иначе. Надеюсь, в её выдуманном мире наша дочь отомщена.

Мою возлюбленную незнакомку (до сих считал её незнакомкой, потому что мы ничего не знали друг о друге, но каждый вечер путешествовали по её миру) заперли в психиатрической больнице. Поместили в закрытое отделение, и я не смог даже в последний раз обнять эти красивые плечи. Позже узнал, что она уже давно на учёте у психиатра. Всё время нашей близости Аврора проверялась у врача. Выкидыш свёл периодические истерические неврозы к прогрессирующей шизофрении.

– Но почему закрытое отделение? Да ни одного шизофреника так не запирают! – кипятился я, потенциальный пациент с симптомами истерии.

– Вы хотите, чтобы она кого-нибудь убила?

Вздрогнул. У неё действительно была крепкая рука. Всегда поражался, откуда у неё такая сверхъестественная сила. Как оказалось, однажды Аврора уже лежала в этой больнице и избивала соседку по палате до полусмерти. Через год лечения мою незнакомку всё же выпустили – она казалась совершенно спокойной. Тут-то я и выследил свою жертву, тут-то и похитил её спокойствие.

Тогда, после разговора с психиатром, мне захотелось с кем-нибудь подраться, но я ограничился тем, что разбил какую-то пивную бутылку. Приложив платок к окровавленным рукам, сидел и думал о дикой, бешеной, необъяснимой любви. Девушка, придумывающая пытки, я не просто принадлежу тебе, а люблю тебя!.. Может быть, мы давно соединились

в твоём безумно прекрасном мире? Мои размышления прервал оглушительный звонок. Когда-то я любил эту мелодию, а теперь даже не помню её названия. Единственное, чего я хотел, – это растоптать телефон ногами.

– Доктор, ваша пациентка...

Не стоило продолжать – я и так знал следующие слова. Дело в том, что Виктория умирает... Виктория умерла, а я даже не сжал на прощание её нежную руку.

Сцена 7. В квартире

В квартире царил страшный беспорядок. Ногой отворил дверь в комнату и с ужасом вскрикнул. Варя собирала вещи не в чемодан: она выбрасывала одну за другой в распахнутое окно, со счастливой улыбкой наблюдая, как дорогая ваза разбивается об асфальт. Задержал её руку, когда та схватила с книжной полки нашего «Маленького принца».

Она непонимающе взглянула на меня.

– Варя, что ты делаешь? Что ты творишь?

Мотылёк ловко выпорхнул из моих рук и лёгким движением вскочил на широкий белый подоконник. Я с силой схватил маленькую ногу, внезапно почувствовав острый страх за её жизнь.

– Тебя так давно не было... – с блаженным лицом пропела она. – Так давно... Ты столько всего пропустил, любимый! Я заложила наш дом, и все эти вещи... К чему лишний мусор? Есть другая жизнь – покой и гармония. Пойдём в неё, милый? Пойдём со мной?

Снял её, несопротивляющуюся, с подоконника и крепко сжал худенькие плечи.

– Ты чем-то напугана. Сядь и перестань говорить глупости.

Но Варя не казалась сумасшедшей. Она знала, что говорит и что делает, а главное, зачем. Она никогда не выглядела счастливее, чем в тот момент.

– Любимый... Я хочу начать всё сначала. Понимаешь? И знаю, как это сделать. Хочу, чтобы ты был рядом со мной. Ты ведь будешь рядом, будешь?

Посмотрел в бледное некрасивое лицо со светлыми бровями и ничего не ответил. В моих объятиях была не моя жена, а какой-то совершенно другой, быть может, даже бесполой человек. Он уже не принадлежал ни мне, ни этому дому, ни этому времени. Что-то случилось, и я почти догадался, заметив на её груди большой деревянный крест.

– Я всегда буду рядом с тобой, но не хочу ничего начинать заново. Мы просто заживём, как раньше, правда, родная? – заговорил ласково, как с маленьким ребенком. Почему-то сейчас, в эту минуту, вдруг явственно осознал всю ценность этого хрупкого создания для самого себя. У меня

никого не осталось на целом свете, кроме маленького принца с горящими судорогой заблуждения глазами. Я должен был спасти её, свою жену, друга, единственного родного человека, не дать сделать последний шаг к пропасти.

– Мой мотылёк, ты слишком долго странствовал, а теперь пришло время вернуться в крепкие объятия...

Но она не слышала ни одного моего слова, только всё время щупала крест и беспокойно озиралась. И вдруг вскочила, подбежала к окну и торжествующе посмотрела на меня:

– Они идут за мной! Наконец-то! Они возьмут и тебя, ты должен пойти с нами, – быстро приложила к моим влажным губам. Лицо сияло. Оно показалось мне в эту минуту необычайно красивым. Я схватил её длинные пальцы и испуганно замотал головой:

– Ты ведь не уйдешь с ними? Нет, нет, нет...

Варя смеялась и ускользала – всё ближе, ближе, ближе к двери. Я схватил телефон, набрал полицию и почти прокричал в трубку, чтобы они скорее приезжали:

– Опасная секта... Это ужасно опасная секта, – надрывался я. Кто-то выбил телефон из моих рук. Тяжело дыша, Варвара ударила меня по лицу. Она никогда этого раньше не делала. *Она* никогда бы этого не сделала.

– Что же ты творишь?!

Попытался обнять её, но девушка увернулась и обожгла меня взглядом, полным жгучего презрения.

– Никому нельзя доверять, – бормотали бледные губы, –

никому, даже ему... Только им, им, им...

– Их заберёт полиция! А ты останешься со мной! – кричал я, но никто меня не слышал, – ты сейчас же выбросишь деревянный крест и вернёшься ко мне и больше никогда... никогда...

Моя Варя (кроткая верная Варя!) скрылась прежде, чем в квартиру позвонили полицейские.

Сцена 1. Продолжение

...ничто не вечно, кроме одиночества. Я затрясся в беззвучном злобном смехе. Чёрт возьми, почему миллиарды людей ежедневно обнимают друг друга, дарят подарки, заводят детей, а я лежу на грязных местах для инвалидов здесь, на вокзале? Что со мной не так? Почему я всегда лишний? В детстве сиделка злобно бросала мне это страшное слово, точно смертный приговор: «Лишний! Ты лишний! Нежеланный».

– Не-же-лан-ный, – проговорил с едкой иронией, приподнявшись на локтях. Разве я не меньше всех виноват в этом?

Какая-то женщина со сломанной ногой крикнула, чтобы я, нищий и алкоголик, убирался отсюда подобру-поздорову. Поднялся и медленно побрёл, не чувствуя под собой ног.

Несколько раз споткнулся и чуть было не упал, хотя на самом деле в моей крови не было ни капли алкоголя. Если бы захотел придумать себе оправдание, сказал бы, что девушка в парке, Мотылек и Виктория существовали исключительно в моей голове. Но вороново перо, «Маленький принц» и локон кукольных белых волос сводили на нет показания обвиняемого перед лицом Судьбы. «Нет, это не я, ты ошибся. По моему сценарию, ты должен быть счастлив», – отчётливо слышался её бесцветный голос.

Маленький ребёнок беспечно играл новенькой машинкой, то и дело попадающей кому-нибудь под ноги. Я заглянул в светлое, не знающее страданий лицо и вдруг подумал: фикция. Этот ребенок уже давным-давно старик, дремлющий в грязном углу сырого подвала. Просто он оказался во власти самых тёплых воспоминаний и остановился здесь, в этом месте и в этом возрасте. Потом мальчишка босиком побежит по ступенькам огромной лестницы в поисках тепла другого человеческого тела. И он будет счастлив и несчастен, пока не вернётся в реальный мир – в грязный угол, в сырой подвал. Здесь уже нет границ между счастьем и несчастьем, жизнью и смертью. Ничего, кроме вечного одиночества. А возвращаться необходимо – ни в одном воспоминании нельзя задержаться надолго.

Я выбрался из душного вокзала. На асфальте кто-то оставил жирную белую надпись: «Стас, ты мне нужен». И я подумал, какой, должно быть, счастливый человек этот Стас,

ведь так здорово быть кому-нибудь нужным. Возможно, весь смысл жизни заключён только в этом, а мы годами питаемся плодами собственного эгоизма и сетуем, что не находим ничего, кроме... одиночества.

Я подошёл к перилам моста, желая поскорее покончить со всеми этими мыслями. Подо мной – серебряная в сиянии первых звёзд гладь воды. А я не умел плавать и хотел слиться с невидимым дном. Снял бесполезный чёрный рюкзак и забрался на скользкие после дождя перила. Руки судорожно вцепились в толстый столб. Я и не подозревал, что человек так сильно боится смерти. Первый неуверенный шаг, второй – колени трясутся... Зажмурился. Сильный ветер рухнул в лицо, у меня перехватило дыхание, и я ещё крепче обнял спасительный столб...

– Помогите! Пожалуйста, помогите, – кричал позади чей-то пронзительный голос.

Невольно вздрогнул: там, в этом мире, из которого я собрался уходить, что-то случилось, но какое мне теперь до этого дело? И между тем голос не отступал, он кричал так громко, что заглушил даже бешеный стук моего сердца:

– Врача! Позовите врача! Мой сын умирает!

Закусил губу. Только бы не слышать! Только бы ничего *такого* не слышать!

– Пожалуйста!..

Наконец решился и сделал третий шаг – назад. Быстро спрыгнул с перил, подхватил рюкзак и бегом понесся на при-

ЗЫВНЫЙ крик.

Notes

[

←1

]

Девуца, встань.

[

←2

]

После меня хоть потоп.

[

←3

]

Лермонтов. Демон.

[

←4

]

Достоевский. Идиот.

[

←5

]

Данте. Божественная комедия.

[

←6

]

Шамиссо. Удивительная история Петра Шлемиля.

[

←7

]

Шекспир. Король Лир.

[

←8

]

Бог из машины – тот, кто неожиданно появляется в жизни человека и решает все его проблемы.

[

←9

]

Шекспир. Отелло.

[

←10

]

Дездемона.

[

←11

]

О.Э. Мандельштам. Notre Dame.

[

←12

] Артём Соломонов «Ночь нежна...».

[
←13

] Д. Китс «Чему смеялся я сейчас во сне?»

[
←14

] В соловья и ласточку, согласно древнегреческим мифам, превратились Филомела и Прокна после того, как приготовили Тирею ужин из его сына Итиса.